

С. В. БАЛЫКОВ

ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ

ИСТОРИКО-БЫТОВАЯ ПОВЕСТЬ



МЮНХЕН
1983

С. Б. БАЛЫКОВ

ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ

ИСТОРИКО-БЫТОВАЯ ПОВЕСТЬ

МЮНХЕН

1983

Все права сохранены за издателем
Д. Б. Бембетовой, урожд. Шавелькиной
(Филадельфия)

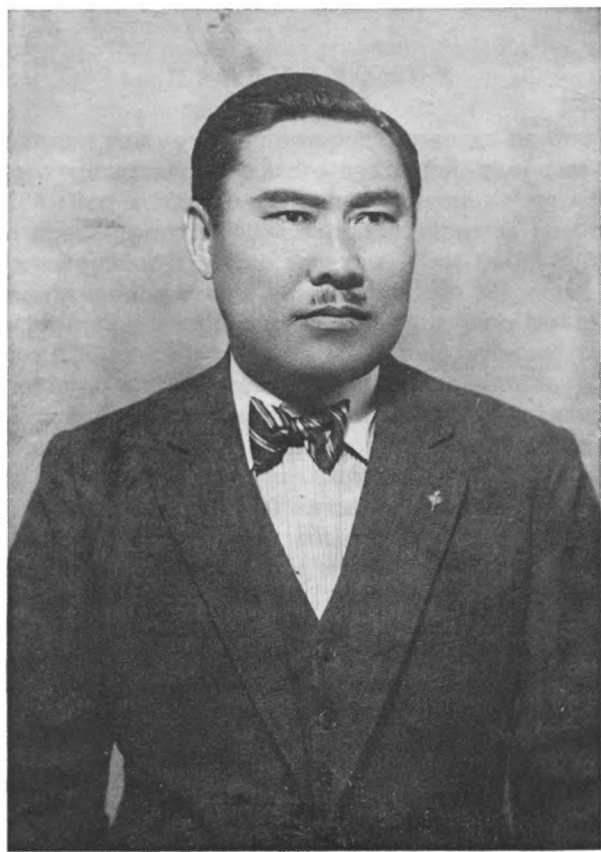
© Copyright by D. Bembetow
Philadelphia, USA

Подготовлено к печати Е. Ремилевой
Prepared for printing by E. Remilev

Buchdruckerei LOGOS, Bothmerstr. 14, 8000 München 19

ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	<i>Неправильно:</i>	<i>Следует читать:</i>
19	хохлатской	хохлацкой
25	разыграем	сыграем
36	не так жердь	не как жердь
64	Ногаг деегюр	Ноган деегюр
64	Нохадан бичä	Нохаган бичä
65	виявился	выявился
76	верств	вёрст
78	верств	вёрст
80	верству	вёрсту
80	верств	вёрст
138	Изпод	Испод



ПРЕДИСЛОВИЕ

Величие какого-нибудь народа никогда не определялось его численностью, а его духовной, творческой потенцией. Все великие народы в древней истории численно представляли собой «малые народы» по отношению к окружающим их соседям. Они были в национальном меньшинстве в созданных ими мировых империях: римляне, греки, персы, арабы, турки, монголы... Калмыки и есть часть тех монголов, которые создали величайшую из азиатских империй, держали русские земли под монголо-татарским игом почти два с половиной века — с 13 по 15 вв., — не составляя сами даже одного миллиона человек. Основателем этой империи был предок калмыков — знаменитый Чингис-хан, как основателем современной советской империи является внук калмыков — не менее знаменитый Ленин. Однако монгольское происхождение Чингис-хана и калмыцкая кровь в жилах Ленина не делают ответственным калмыцкий народ за эти одиозные для одних, великие для других исторические личности.

Вся многовековая история калмыков — на протяжении 300 лет после распада империи Чингис-хана в Азии и 350 лет в Европе в пределах царской и советской империй есть перманентная, самоотверженная и чудовищно неравная борьба за национальное самосохранение. Как продолжалась эта борьба после падения Монгольской империи рассказывал в предисловии к другой книге С. Б. Балыкова выдающийся национальный лидер калмыков, мой покойный друг Шамба Балинов: — «В XVII веке эта борьба кончилась поражением кал-

мыков (ойратов) против маньджуrow. В результате часть «Ойратского Союза» пошла на запад и в 1632 году достигла берегов Волги и Дона, где и остались жить особой независимой национальной жизнью, с национальной властью в лице своего хана. Калмыки, никогда в чужом подчинении не бывшие, столкнулись с русской экспансией и в течение почти полтора века оказывали упорное сопротивление русскому нашествию, защищая свою национальную свободу. Вполне понятное явление — стремление большого народа к увеличению своей территории и государственной мощи, и такое же естественное явление — стремление маленького народа защитить и отстоять свое национальное право, национальную независимость, столкнулись, как говорится, лбами... В 1771 году четыре пятых калмыцкого народа ушли в Азию, в пределы Китая... Оставшаяся в пределах России $\frac{1}{5}$ часть калмыков потеряла всякий признак национальной власти». (С. Б. Балыков, Сильнее Власти, Мюнхен, 1976, стр. 5—6). Но самая ужасная трагедия, которая привела почти к биологическому уничтожению калмыцкой нации, произошла в декабре 1943 года, уже после того как восемь тысяч солдат-калмыков, участников Отечественной войны, получили ордена и медали, а 21 калмык были удостоены звания Героя Советского Союза. Об этой трагедии БСЭ упомянула лишь одним предложением: «В конце 1943 было допущено нарушение социалистической законности, в результате чего калмыки были переселены в восточные районы страны». (БСЭ, т. 11, стр. 220). Калмыки были не «переселены», а поголовно — дети, женщины, мужчины — депортированы в тайги Сибири и пески Казахстана, где половина их погибла от голода, холода и болезней. История геноцида калмыцкого народа еще не написана. Она ждет своего автора.

Историко-бытовая повесть «Девичья Честь» Санджи Балыкова, написанная еще до второй мировой войны, посвящена быту, традициям и участию в революции этого маленького, но древнего, этого многострадального, но героического народа. Талант бытописателя родного

народа и широта политического кругозора, дают автору возможность связать личную трагедию героев повести с трагедией всей страны и одновременно ввести нас в своеобразный мир традиций калмыков и национально-политических чаяний калмыцкого народа. Писатель С. Балыков был не простым наблюдателем, а активным участником гражданской войны. Автор прошел боевой путь до конца всей этой войны против большевиков (1918—1920), начав его юнкером и закончив будучи представленным к званию сотника. Он был в составе 76 Донского полка, после ранения был определен в Зюнгарский полк, участвовавший в многочисленных боевых операциях, порою весьма кровавых, как свидетельствует автор. Был награжден солдатским Георгиевским крестом, анненским темляком на саблю «за храбрость» и орденом Станислава.

Я не литературный критик, но как рядовой читатель и свидетельствую, что по драматизму развития и глубине психологической мотивированности иные сцены в этой повести прямо таки захватывающие. Пестрота картин гражданской войны на Дону, участие в ней на стороне белых калмыцкого казачества, зверская месть красных за это над семьями калмыков, сцены эвакуации белой армии в Крым, трагическая гибель главного героя и героини повести, — все это описано мастерски и запоминающе. Санджа Балыков верен жизненной и исторической правде. В отдельных местах читатель заметит некоторую стилизованность повествования и «старомодность» лексики, но несмотря на это, исторический колорит эпохи и нравственная чистота калмыцкого быта воспроизведены ярко и реалистически.

Как сложилась судьба остатков калмыков после возвращения их из депортации? Совершенно также, как сложилась судьба возвращенных из депортации народов Кавказа. «Автономию» их формально восстановили, но она чистейшая фикция. Дореволюционный калмыцкий улус или сельское правление горцев Кавказа имели больше административных прав, чем ныне восстановленные их «автономные республики».

Повесть «Девичья Честь» выходит к 40-летию со дня смерти С. Б. Балыкова. Мне хочется высказать надежду, что читатель любого народа СССР, особенно русский читатель найдет в этой повести много для себя интересного и поучительного. Я искренне желаю, чтобы эта книга Санджи Басановича Балыкова дошла до его родного народа. Это будет лучшим памятником так рано скончавшемуся талантливому автору.

А. Авторханов



ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ

Когда созреет ковыль, и нежные пучки расчесанного шелка сверкающими волнами с легким шелестом заиграют по степи, здесь бело все: белесым делается голубое небо, раскаленным белым шаром пышет солнце, в белых миражных волнах ходят вдали табуны, и белыми конусами кажутся кибитки калмыцких хотов. Поэтому эта часть Задонской степи называется Борокчун, что значит — белая. Только здесь великая степь сохранила свой былой простор и девственную целину. Редкие кашары коннозаводчиков и калмыцкие хотоны, маленькими островками затерянные в степном океане, не портят степь, а оживляют.

В большом Борокчунском хотоне сегодня важное событие: жена молодого табунщика Пурве Цагакова — Уланка — рождает первенца. Рослый и плечистый, богатырь с виду, Пурве Цагаков, роскошматив по ветру копну черных волос, тревожной походкой ходит взад и вперед около своей кибитки и побледневшими губами шепчет мольбу к разным богам. Страшно ему за любимую Уланку. При каждом ее резком крике он невольно вздрагивает и бросается к запертым дверям кибитки, но, не смея туда войти, отходит обратно и дрожащими руками вновь набивает еще не остывшую трубку табаком из черного шерстяного кисета.

К обеду, из кибитки вышла одна из бабок. С радостным выражением на лице подошла к Пурве и, сказав: «Все хорошо, а в доме твоём — драгоценность», взяла его картуз и ушла обратно. Это значило, что Уланка родила сына и что он должен угостить каждую бабку парой чашек раки и на их счастливые руки навязать по большому белому платку. Недавнее смятение и страх сменились в душе Пурве радостью. Сев на прикрытое

потниками седло в стороне от кибитки, рукавом рубашки отирая пот с лица, в невольной улыбке обнажая ряды крупных зубов, стал Пурве снова набивать трубку.

Через неделю после родов Уланки забрел в Борокчунский хотон старый знахарь, гадалщик на четках. Уланка позвала старика к себе, напоила и накормила его и почтительно просила дать мальчику имя и погадать на него.

Долго шевелил старик губами, заговаривая свои четки, шептал и дул на них, потом закрыл глаза и погрузился в глубокое размышление, медленно перебирая костлявыми пальцами лоснящиеся черные шарики. Трижды перебрав сто восемь шариков, он открыл глаза, надел четки на кисть руки и пальцами начал перебирать, сводить и разводить шарики по шелковому шнуру. Наконец он кончил гаданье и сказал: «Имя мальчику — Бадня. Да будет оно ему на счастье и многие лета. Бадня — значит, рожденный по воле того Великого, Кто в вечном покое восседает на бадма-цветке. Сын твой будет счастлив и славен. Нужно ему остерегаться водной стихии, от воды ему несчастье».

**
*

Соседями Цигаковых в то лето были такие же молодые супруги Дамба и Юлга Абушиновы. Когда обе молодницы почти одновременно понесли, друзья уговорились так: «если родятся мальчики, то сделаем их побратимами, если девочки, то быть им сестрами, а если мальчик и девочка, то женихом и невестой».

Через месяц после Уланки родила Юлга невесту Бадни. Ики-Бурульский хурульный астролог по сочетанию планет в день рождения, по священной книге, дал дочери Дамбы имя Зиндмя — драгоценность.

Цагаковы и Абушиновы стали по уговору сватами.

Тихо и безмятежно течет жизнь в Борокчунском хотоне. В легком однообразном труде, в простоте и довольстве проходят дни и месяцы в степи. Дети составляют главную заботу и радость в калмыцкой семье. Крепли и росли в Борокчунском хотоне Бадня и Зинд-

мя. С того лета, при каждой перекочевке, кибитки Цагаковых и Абушиновых ставились рядом.

На четвертом году по весне заболел Бадня. Так как за три дня до болезни мальчика побывал в хотоне хромой орус-шабай, который, придя к Цагаковым есть сметану, угостил мальчика пряниками, Уланка стала лечить Бадню от дурного глаза: три утра подряд мыла сына водой, в которую были брошены девять кусочков горячего угля, девять зернышек пшена и девять кристалликов соли. Но здоровье мальчика не поправлялось. Тогда она пыталась выгнать болезнь оловом: в уполовник с кипящим маслом бросила она кусок олова, расплавила его и, держа чашку с водой над прикрытой головой Бадни, вливала в нее кипящее масло и расплавленное олово. Раздавался треск, вспыхивало пламя, шипящими брызгами летело масло. Бадня вздрагивал и прижимался к матери. Но выздоровления не последовало.

По совету старых соседок Пурве решил съездить к входившему тогда в славу ики-бурульскому знахарю Салме Уладинову, меткому знатоку болезней по моче больного. Ранним утром взял в маленькую бутылочку раннюю мочу Бадни, увязал в торока бутылку водки для знахаря и поехал в хутор Шара-Бурук Ики-Бурульской станицы.

Поездка была не близкая. Целый летний день и ночь ехал Пурве.

Салма Уладинов был важный знахарь. С приехавшими к нему за помощью он почти не вступал в посторонний разговор, исключая только очень богатых, которые могли и на дом его позвать. Когда Пурве Цагаков робко вошел в его землянку, Салма полулежал на своей кровати, посасывая трубку. На вошедшего Пурве он взглянул только уголком глаза и едва прошевелил губами в ответ на его приветствие. Когда Пурве поклонился и положил на низенький столик перед Бурхан белый узелок, а на пол бутылку водки, Салма спросил:

— Ты, парень, из-за Маныча? ...

— Да, из-за Маньча, из Борокчуна.

— Едешь из-за Маньча, а не догадался захватить тушое в кишке ребро с сальником?!

— Готового не было, а я спешил, — виновато отвечал Пурве, не осмеливаясь садиться без разрешения хозяина.

— Ну, другой раз не забудь... Налей мне твоей водки, — приказал знахарь.

Выпив полстакана водки, Салма приказал подать ему бутылочку с мочой Бадни и, сильно взболтнув, стал следить за пеной. Прodelав это несколько раз, он проговорил: «Больному ничего нельзя давать кушать. Давать только кипяченую воду. Через две недели приедешь опять с мочей больного».

За две недели голодовки Бадня истощал и слег совсем. При вторичном визите Пурве, к его горю, Салма приказал продолжать водное лечение. Через месяц, когда высохший и обтянутый кожей скелет, мальчик, вдруг начал пухнуть, и испуганный Пурве прискакал к знахарю, Салма объявил, что он не может выправить Богом отпущенную долю человека и что уж нет смысла к нему ездить.

В большом горе сидели супруги Цагаковы над умирающим ребенком и молча утирали родительские слезы. Потерять первенца для родителей — ужасное несчастье, ибо за первенцем могут легко умирать и последующие дети. Первенец — фундамент родительского счастья.

Едва слышным голосом, в ухо наклонившейся к нему матери, Бадня просил есть. Но обескураженная Уланка колебалась и не решалась кормить сына, боясь ускорить его смерть.

В это время вошел к Цагаковым Дамба Абушинов.

— Ну, как мой зять, выздоравливает? — громко спросил он. Но увидев заплаканные лица родителей и взглянув на умирающего Бадню, он понял все. Взяв руку мальчика, услышав его шопот о еде, Дамба воскликнул: «Ну его на дно земной тьмы, вашего Салму! Мальчик в полном уме и умирает с голоду и истоще-

ния. Так он все равно до утра не доживет. Сейчас же режьте курицу, сварите хороший бульон и дайте маленькую чашечку Бадне. Потом раскатайте тонким слоем тесто, сделайте на жару сухую пышку и тоже немного дайте. Я ручаюсь, что это ему не повредит. А потом завтра же поезжайте к эркетинскому бакше. Слышал, что он хорошо лечит и многих вылечивает».

Потерявшие голову супруги Цагаковы послушались энергичного соседа-друга. Куриный бульон и сухая пышка не повредила Бадне. На другой день дали ему даже кусочек курятины. В душе Уланки зародилась надежда спасти сына, и она с верой стала собираться в путь, к эркетинскому бакше.

Поездка Цагаковых в далекую Эркетинскую станцию была большим событием в Борокчунском хотоне. Было это в 1900 году.

Оказалось, что до Чепрака нужно ехать день подводой, там сесть в машину и ехать день, а потом еще день опять подводой. С трудом нашли в хотоне человека, умеющего ездить в машине и свободно говорить по-русски.

Когда к станции, пронзительно сзистнув, пыхтя и гремя, подкатил поезд, душа Уланки ушла в пятки. Дрожа от страха, обливаясь холодным потом, зажмурив глаза, с трудом она влезла в один из вагонов, впереди которых был запряжен громадный черный «жеребец» с горящими глазами, шумно пыхтящий. Еще больше удивилась Уланка, когда увидела, что в этих «возах» не только сидят, стоят, едят и спят, но и «ходят на двор».

Эркетинский бакша лечил разумно. Распросив, когда и как заболел мальчик, чем и как лечили, он разругал мать и отца Бадни. В первый же вечер он очистил мальчику желудок и сам накормил его вкусным супом и белым хлебом.

— Вот как нужно лечить! — приговаривал Бадня, жадно уписывая суп с мясом. Когда мальчик явно стал поправляться, Пурве и проводник уехали домой, оставив Уланку и Бадню одних в эркетинском хуруле.

Через три недели, когда проводник приехал за Уланкой, Бадня был уже совершенно здоров и шалил с хурульными манжиками.

Уланка слыла в своем хотоне справедливой женщиной, но когда она стала рассказывать про вороного «жеребца», который выдыхает черный дым и тащит двадцать домиков, да так быстро, что столбы мелькают в глазах, а в домиках во время езды десятки людей спят, «ходят на двор», пьют чай, соседки явно засомневались. А Бадня, перебивая мать, рассказывал:

— В Эркетине живут такие-же калмыки, только живут они в деревянных домах и глиняных хатах, а огонь разводят в яме, а дым выходит через дыру.

Из поездки Бадня привез целую шапку разноцветных гладеньких камешков, собранных им вдоль железнодорожного полотна у Чепрака. Гальку эту, как диковинку, он менял хотонным ребятам на гайданчики.

В ту осень у борокчунцев опять было несчастье: начался падеж скота, да свернул шею, упав с лошади и застряв в стремени, один табунщик.

Знахарь Салма, к которому обратились по поводу этих несчастий, посоветовал, что им следует переселиться в другое место.

За один месяц Борокчунский хотон разбрелся: кто нанялся к другим коннозаводчикам, кто перекочевал на другое пастбище, подальше от проклятого места.

Супруги Цагаковы и супруги Абушиновы вовсе оставили Задонскую степь и откочевали в свои станицы. Цагаковы — в хутор Богла Бокшурганской станицы, на Салу, а Абушиновы — в станицу Зюнгарскую, на Куберле.

Эта далекая перекочевка в полстяных будках — на возилках, с остановками в пути, с варкой пищи в степи; прохождение подвод через очистительные огни с трещащей солью, слезы матери, покидающей родные места — остались вторым памятным событием в детстве Бадни из годов жизни в просторной и девственной Борокчунской степи.

ГЛАВА 1

По Борокчуну, как и пятнадцать лет назад, занятому богатыми кашарами коннозаводчиков и калмыцкими хотонами, — как раз по грани, разделяющей новонаселенные казачьи станицы Кагальницкую, Мечетинскую и Егорлыцкую и участки коннозаводств, где степь и ныне еще целинна и на десятки верст тянется величественным простором, — пролегает теперь Донская ветка Владикавказской железной дороги.

В один из апрельских дней весны 1916 года, когда высокое степное небо особенно нежно голубело, а облака, кое-где разбросанные по нему, были чисты и легки, как снежные громады, когда ослепительное солнце не пекло, а приятно грело, когда степь, ярко-зеленое море, красовалась красными тюльпанными островами, а жаворонки, словно по установленной очереди, поднимаясь в высь, неутомимо трещали в поднебесьи, — по этому пути, протянув над собой кочковатую кривую борозду белого дыма, мчался поезд.

В одном из вагонов третьего класса, на противоположных спальных местах, положив под головы маленькие дорожные подушечки, подослав под себя легкие фланелевые одеяла, лежали два молодых человека. Это — ученики 7-го класса Новочеркасского реального училища Бадня Цагаков и Василий Гречанкин, едущие на пасхальные каникулы домой. Одеты были оба одинаково, в форму училища — черные суконные гимнастерки, перетянутые черными кожаными поясами с желтыми металлическими бляхами с выдавленными на них буквами «НРУ», темно-синие суконные брюки навыпуск с красными лампасами. Оба были рослые, плечистые, смуглые. Только у Цагакова были узкие черные глаза, черные волосы и туповатый нос, а у Гречанкина — карие глаза, каштановые волосы и короткий вздернутый нос.

Время было бедовое. Уже третий год шла большая война, а конца ей не было видно. Носились по стране всякие слухи: то радостные, то печальные, правдивые

и ложные — было о чем говорить, толковать и спорить пассажирам, но в вагоне была тишина. Почти все смотрели в открытые окна и молча любовались красотой Борокчунской шири, жадно вдыхая легкий аромат цветущей степи.

Лежа на животе, Бадня не отрывал глаза от приятной и родной ему картины Борокчуна, о котором сохранились у него какие-то смутные обрывки далеких событий. Гречанкин не смотрел в окно, сосредоточенно читая книгу. Бадня повернулся на бок и спросил:

— Вася, чем ты так зачитался? Смотри, как прекрасна здесь степь! Именно тут где-то я родился и рос до пяти лет, смутно и я это помню.

— Арцыбашевым я зачитался, — не поднимая головы отвечал Вася.

— Фу!.. Санин, что ли?

— Да, а ты уже читал?

— Чит-а-л, к сожалению. Не нравится мне такая вещь! Мне как-то не верится в реальность многих моментов в этом романе. Все кажется, что это надуманно. Быть может, сказывается то, что я и герой этого романа — люди из разных двух миров. Чтобы у нас девица так себя повела, как там у тебя, да еще забеременела, а родной брат так бы про нее думал... Нет, у нас это невозможно, просто немыслимо! — громко проговорил Бадня.

Гречанкин молча выслушал Бадню, минутку подумал и отвечал:

— Да, Бадняша, как посмотрю, — народы с менее развитой культурой, более первобытные, отличаются более твердыми моральными устоями, чистотою души, патриархальностью. Может, недаром эти народы противятся проникновению в их среду, в их быт и культуру...

Сказав это, Вася, по обыкновению, запустил пятерню в копну каштановых волос, тихо шмыгнул вздернутым носом и, прочищая горло, прокашлялся. Им не привыкать было спорить. Два года квартируя вместе и сидя в школе на одной парте уже пять лет подряд,

превратившись за это время из мальчиков в юношей, через два месяца кончающих среднюю школу, часто убивали они часы, споря о вещах, о которых оба имели зачатую смутное представление.

Вася в спорах был всегда краток, умел в немногих словах ясно выражать свою мысль, а Бадня, наоборот, был многословен, всегда старался строить красивые фразы, часто впадал в пафос. На всех собраниях учеников старших классов, по выражению товарищей, он «морил народ», а когда товарищи начинали роптать, он приходил в ярость, стучал кулаком по столу и стыдил их за «поползновение на священную свободу слова».

— Ты говоришь: «народы с менее развитой культурой и первобытные» и не чувствуешь, что по-обыкновенно повторяешь ходячее ошибочное мнение других о себе, о своей культуре и о народах, входящих в состав Государства Российского. Ты не можешь подумать о том, что я не менее культурен чем ты. Так? Возьми теперь любого простого, неграмотного калмыка из нашего хутора и мужика из Рязанской губернии. Большой разницы между ними не найдешь. А если и будет разница, то не в пользу рязанца. Согласен?.. Так где же «менее развитая» и более развитая культура?! Дорогой мой, культура культуре рознь. Твой Санин с сестрой для тебя, может, и культурные люди, а для меня они просто развратники. Да ты понимаешь, что такое культура, ее предмет?.. Совсем не то! Ты путаешь цивилизацию с культурой. Культура — это сумма нравственных качеств данного народа, высота и чистота его духа, его общественной морали. Следовательно, культурен тот народ, у которого процветает честность, братское добросердечие, чистота семейного быта, гостеприимство, мягкосердечие к страждущему брату-человеку. Сравни, с этой точки зрения, калмыка из степного хутора и мужика из глухого села. Тогда поймешь, где больше культуры. А то, о чем ты говоришь, — города, трамваи, электричество, газ, каменные дома, крахмальный воротник и прочее, — это, брат ты мой, не культура, а цивилизация, т. е. улучшение внеш-

них условий жизни. В этом отношении, конечно, мы — народ с менее развитой цивилизацией. Так что ты затронул щекотливый вопрос из весьма спорной оперы, без достаточных средств сие разобрать. Я говорю только о чистоте нравов в быту. Например, у нас каждый жених всегда бывает уверен в невинности своей невесты, и ему никогда не приходится в этом разочаровываться, — закончил Бадня и, по привычке, лизнул языком свои мясистые губы и с силой их сжал, точно закрепляя сказанное и ставя точку.

— Хорошо, Бадняша!.. Допустим, что так, — встряхнув разлохмаченной головой, ответил Вася, — но какое же, по-твоему, имеет значение в семейной жизни, во взаимоотношениях мужа и жены, то обстоятельство, что вы непременно получаете в жены невинных девушек.... Конечно, это приятно льстит самолюбию молодого мужа. Но я спрашиваю тебя: влияет ли это обстоятельство на увеличение числа счастливых семей?...

— Я этому придаю огромное значение! — воскликнул Бадня. — Честь девичья, честь невесты — это неопровержимый документ, что твоя жена порядочный человек. Здесь именно суть, основа доверия мужа к жене, начало уважения, а от доверия и уважения к любви один шаг. Отсюда и больше шансов на счастливую совместную жизнь; разводы у нас очень редки.

Проговорив это, Бадня хотел подняться и сесть, но ударившись больно головой о верхнюю полку, сморщился и снова лег, потирая рукою ушибленное место.

— Признаю в твоей мысли некоторую логику. Ну, а в дальнейшем ваши жены так ли безупречны и умеют ли они достойно оберегать честь мужа, честь эта так ли уж крепко соблюдается, как честь девичья? Или последняя есть только невольное соблюдение ими необходимых условий для выхода замуж?.. Подожди, подожди, дай докончить и уточнить вопрос, чтобы ты не понес околесицы!.. Мне думается, что женщины (пусть будет по-твоему) цивилизованных народов, хоть и не отличаются особой строгостью в девичьем состоя-

нии, но зато, став женами, они лучше соблюдают честь дома, имени мужа. Вот на это ты мне ответь, — сказал Вася.

— Вопрос твой серьезный. Вижу, к чему клонишь, — отвечал Бадня, глубокомысленно задумавшись. — Признаться тебе, истории бывают, но все-таки, думаю, что гараздо меньше, чем у окружающих нас народов. Да и те случаи имеют под собой важные причины. Нужно принять во внимание, что множество наших жен, в самых молодых годах, как жены казаков, остаются на четыре года жармелками. Небось, и сам по своей станице знаешь. А природа и ее законы, понимаешь ли, факторы могучие, перебороть которые посильно не каждому индивидууму. Но и то наши молодайки очень редко сбиваются с пути. А чтобы жена, при наличии мужа, творила романы, вроде Анны Карениной, почти не приходится слышать. Так что, как видишь, вероятно, честь девичья не только невольное и временное соблюдение условий для выхода замуж, как ты сказал, но и коренное психологическое явление, имеющее влияние на все последующие этапы жизни, — ответил Бадня, чувствуя, как берет перевес над противником, что ему редко удавалось.

Так как молодые люди спорили, точно артисты на сцене, громко и внятно, то окружающая публика молчала и ухмылялась. Увидя это, Вася замолчал и больше Бадне не отвечал, углубившись опять в чтение Санина. Нахмутив лоб, о чем-то крепко задумавшись, молчал и Бадня.

Станции, с характерным степными названиями — Верблюд, Атаман, Кагальник, Егорлык, Целина, — маленькими красными точками разбросанные по степному простору, тихие и безлюдные, быстро мелькали одна за другой.

По прямой, как стрела, ровной, как укатанный казачий ток, Донской ветке поезд мчался быстро. Простояв на станции Торговая, у большой хохлатской слободы Воронцовка, пятнадцать минут, дав пассажирам возможность дешево и вкусно закусить у крикливых тор-

говок-хохлушек, поезд помчался дальше, свернув на север.

Перед станцией Великокняжеская (Чепрак, по-калмыцки) Бадня слез с полки. Паровоз вдруг пронзительно свистнул, поезд замедлил ход и остановился. Попрощавшись с Васей, Бадня вышел из вагона, прошел через залу знакомого станционного здания и очутился на узкой дугообразной улице, вдоль которой стояло множество пароконных и одноконных извозчиков. «Вот фаэтончик, живо доставлю!», «Вот бланкардочка под рысачками!», «Извольте сесть, прокачу!» — зазывали пассажиров извозчики. Хотя война шла уже три года, но лошади у великокняжеских извозчиков были еще хороши. Сказывалось, что станица — центр коневодческого царства, Сальского калмыцкого округа Дона.

Бадня сел на крайнюю бланкарду и приказал везти в постоялый двор с номерами «Томенко», где должна была ждать высланная за ним подвода.

ГЛАВА 2

Хутор Богла просторно раскинулся по обеим сторонам узенькой, извилистой, болотистой и маловодной речушки, впадающей в Сал. Хутор, конечно, имел официальное название, по имени одного из царских генералов, поработавших над закреплением земли донских казаков за Россией, но калмыки, верные своей азиатской традиции, называли свой хутор по имени речки, на которой он расположен.

В те дни, когда Пурве Цагаков перекочевал из Борокчунской степи, хутор Богла был маленький, бедный, неуютный, пополам — из кибиток и землянок. То был первый десяток лет прикрепления калмыков к оседлости, по разбивке их на станицы и нарезке земли на станичные юрты, первый десяток лет, как калмыки начали сеять хлеб.

Тяжко страдали калмыки в первые годы оседлости. «Землянки» давили и душили их. Жить в них они не умели. Не знали, как в них топить, еще больше страшила их необходимость пахать землю и сеять хлеб, ибо жить со скотоводства на станичных юртах стало невозможно — было тесно.

Но тучная земля рожала достаточно, как ни вспаши, как плохо ни засеи. Вспашет, бывало, калмык один год, а на другой, как только начнет земля просыхать после снегов, разбросает он горстями зерно, потом туда-сюда по несколько раз прогонит по пашне отару овец и... хлеб подымался: земля хорошо рожала.

Прошло два десятка лет, и хутор Богла стал неузнаваем: появились хорошие деревянные домики, флигеля, просторные и высокие землянки, воцарилась чистота в жилище, народ применился к новой жизни. Застроился хутор амбарами, сараями, конюшнями, исчезла тяга к кибитке. Хлеба подняли новое хозяйство. Десятки и сотни десятин стали сеять калмыки. Базы со скотиной и амбары, полные зерна, стали фундаментом калмыцкого хозяйства.

Дом Пурве Цагакова — в центре хутора, на левом берегу речки, против большого речного изгиба, образующего прекрасный луг. Дом — один из лучших в хуторе — деревянный, окрашенный в голубой цвет, с жестяной крышей, зеленого цвета. Вокруг дома — узорчатое крыльцо на коротких сваях, а южная сторона крыльца превращена в веранду, увитую диким виноградом и поветелью, дальше начинается большой двор полный построек — двух базов, длинного сарая, двух амбаров. А на северной стороне от дома, между ним и речкой, громадный восьмидесятинный луг занят знаменитым яблоневым садом Пурве Цагакова.

Сад — гордость Пурве. Это от него пошли сады по огородам боглаевцев, и он справедливо считает себя виновником того, что хутор Богла ныне утопает в зелени фруктовых садов, в отличие от иных калмыцких хуторов.

Пурве Цагакову теперь за сорок. Он уже не тот суеверный молодой табунщик, а солидный, высокий, смуглый калмык, с громовым голосом — первый в хуторе богач. У него до ста голов скота, десяток добрых лошадей, сеет до сотни десятин хлеба. От хлеба, от скота, от сада текут в сундук Цагакова хорошие доходы, и он богатеет с каждым годом.

Семья у Цагакова небольшая: он сам, жена его, Уланка, сын Бадня, кончающий в этом году реальное училище в Новочеркасске, и дочь Эрвни, семнадцатилетняя гимназистка.

Хоть и неграмотен Пурве Цагаков, но считается он современным мужчиной в станице. Никто раньше него не заводил в хуторе хозяйственных новшеств. Он же первый в станице отдал сына и дочь в среднюю школу, тогда как до него не решались идти дальше Чепракского четырехклассного городского училища, дающего возможность стать народным учителем.

Под влиянием сына, начитавшегося разных нелегальных социалистических брошюр, Пурве первый во всей станице стал скептически отзываться об авторитетности и компетентности Ламы — духовного главы на-

рода, который, обычно, регулировал почти все стороны частной жизни калмыков в станице.

Так как во всех своих выступлениях он любил ссылаться на знание и ученость своего сына, то Бадня давно прослыл в хуторе безбожником. А быть безбожником в калмыцком хуторе дело не легкое: где бы Бадня ни появлялся, он встречал молчаливое, недружелюбное отношение. Даже местные парни и девушки избегали его общества и не упускали случая задевать его разными каверзными репликами о Боге, о Ламе.

Но семейная жизнь Цагакова шла ладно. Отец и сын любили и уважали друг друга, ладили брат и сестра, любили друг друга и были дружны мать и дочь. Мир, порядок и любовь царили в богатом доме Пурве Цагакова.

К приезду сына Пурве приказал зажарить молочного поросенка в сметане. Он встретил Бадню крепкими объятиями, поцелуями в обе щеки и густым духом крепкой весенней раки. По-прежнему тихая и бессловесная Уланка, при помощи шустрой Эрвни, приехавшей на каникулы дня на три раньше Бадни, хлопотала о столе, о самоваре.

Далеко от Богла, где-то за Мартыновкой, заходило степное солнце. По хутору подымалась пыль от возвращающейся скотины и рысящих по улице лошадей, разбираемые хозяевами.

Всей шумной и радостной семьей встретив и загнав в базы скотину и коней, за столом, уставленным жирной и вкусной хуторской снедью, собралась семья Пурве Цагакова. Эта была самая счастливая минута в доме. Приезд детей на каникулы, их смех и рассказы всегда делали счастливыми родителей, и Пурве, по этому случаю, всегда бывал навеселе, благо холодная весенняя раки не переводилась в погребе.

Так как Бадня через месяц-полтора кончал училище, то разговор за ужином шел о том, как дальше быть Бадне.

— Я за этот год устал сильно, и мне доктор советует годик после реального отдохнуть, побыть в поле,

поработать физически, хорошо покормиться, а то у меня легкие не совсем в порядке. Год побуду дома, буду помогать вам хозяйствовать. Теперь нам надо решить, на какой факультет университета мне записываться и в каком городе. Начнем с самого младшего. Должна свое мнение сказать Эрвни. Ну, говори! — со смехом обратился Бадня к сестре, после пансионного режима дававшей себе волю над поросычьим боком.

— Я хочу, чтобы ты был офицером. Теперь через шесть месяцев можно быть прапорщиком; пойдешь на фронт, а там до конца войны будешь уже полковником. Из тебя будет хороший офицер, и ты к нам в пансион придешь!.. — отвечала Эрвни, смеясь щелями узких глазенок.

— Ай, подальше от офицера: один сын, и того убьют еще, а тебя замуж возьмут, с кем мы, старые, останемся? — вставила тихо и серьезно мать.

— Я не для того кончил среднее учебное заведение, чтобы идти в школу прапорщиков! Я пойду только в университет. Только на какой факультет, папа?

— А трудно это решать, сынок! Мне хочется, чтобы ты и доктором был, и адвокатом, и инженером... Голова кругом идет! — воскликнул Пурве.

— Адвокатом не хорошо быть. Я слышала, они много неправды говорят, воров и разбойников за деньги защищают, — опять смиренно вставила Уланка.

— Когда думаю о факультете, то я, папа, не думаю о том, кем мне быть лучше, а в какой роли я принесу больше пользы нашему народу, т. е. нужно выбрать — в ком больше всего нуждается народ... Думая так, я склоняюсь к медицине. Я знаю, как много народу мрет у нас, особенно детей, от того что нет доктора, что больных лечат знахари и гелюны. Много, много калмыцких жизней можно было спасти при помощи медицины, — вдохновенно и серьезно заговорил Бадня, глядя то на отца, то на мать и сестру.

— Умную речь говоришь, сынок. Всего у нас нет, а доктор самый нужный человек. Только боюсь я, что наш человек не скоро пойдет к доктору. Скорее он

сходит к знахарю или пойдет в хурул за нашептанной водой, — шумно смеясь, отвечал Пурве.

К концу ужина пришли к окончательному решению: по окончании школы Бадня год будет дома, а потом поедет в Ростов на медицинский факультет, сдав предварительно экзамен по латинскому языку.

Был уже поздний вечер, когда, сытно и вкусно поужинав, достаточно наговорившись, семья Пурве Цагакова разошлась по комнатам. Оставшись с сыном вдвоем, уже стоя у дверей, Пурве обратился к Бадне:

— Ты, Бадня, посмотри: тебе уже девятнадцать лет. Мне и твоей матери было бы большим счастьем, если бы мы засватали тебе невесту и женили. Ведь студентам можно жениться? Вон Уланов был женат и учился, да и Тепкина сын тоже был женат, а учился в юнкерском!.. Знаешь, когда мы жили в Борокчуне, там у меня был друг, у него была дочка, рожденная в том же году, что и ты. Мы тогда же, в год вашего рождения, словесно сговорились быть сватами. То было давно. С того времени прошло уже около двадцати лет. Он откочевал в свою Зюнгарскую станицу, а мы — сюда. С тех пор мы не виделись. Не знаю, жива ли его дочь, да не выдал ли он ее замуж. Ну, ты теперь у нас ученый, простую калмычку не возьмешь, наш выбор уже не понравится тебе... Так ты уж сам выбери какую, а потом мне скажи, а мы повезем раку и по закону засватаем, да свадьбу на славу разыграем... Как думаешь, сынок?.. Правильно я говорю, или нет?

— Очень даже правильно, папа. Отец у меня — толковый старик! Будьте покойны — я так и сделаю...

Старик, довольный ответом сына, ушел спать.

Придя в свою комнату, прежде чем лечь в постель, Бадня в раздумье прошелся по своей маленькой комнате раза два-три, потом чему-то улыбнулся и, открыв чемодан, начал рыться. Выложив на стол груду книг, из одной он вынул письмо на голубой бумаге и начал читать:

«... я до сего времени не могу свыкнуться с мыслью, что ты мой будущий (ой, стыдно даже писать!) ... муж,

а я — твоя . . . жена. Так это у нас неожиданно вышло, что я до сих пор удивляюсь моей смелости и не понимаю, как я сказала тебе — «да». Если узнает моя мама, что я без ведома родителей, сама нашла себе жениха и дала ему согласие, то, наверное, прибьет меня. И поделом! Понимаешь, мы с тобой революцию вносим: ибо разве у нас допустимо, чтобы парень и девица сами решали такое дело! . . . Чем больше об этом думаю, тем больше начинаю понимать, как я сильно тебя люблю. Знаешь, когда я начала тебя любить? Была я на гегене вашей станицы. Во время молебствия сидела я с подругами на траве. Вдруг я заметила вправо от себя, как какой-то парень, сидя на обоих коленях, в широком зеленом, с черными цветами, шелковом бешмете, все смотрит на меня. Наши взгляды встретились. По тому, как он смутился и опустил взор, я решила, что это парень не простой, а лицо и взгляд его мне понравились. Это был ты. А потом, когда тебя Эрвни знакомила со мною в пансионе, мне было смешно, ибо я уже знала тебя и часто о тебе думала. Теперь ты через Эрвни и маму дай знать твоему отцу, чтобы он повез раку к нашим. Пусть наши старики выполняют свои обычаи. Иначе люди узнают, что дочь Дамбы сама нашла себе жиниха, и будут говорить: «вот и отдавай девочек в русскую школу», — прочитал Бадня из середины большого письма, полученного им месяц тому назад. «Завтра придется сказать отцу, скажу сам, чего там девочку еще втягивать в это дело», — решил он, бросая письмо обратно в чемодан и выходя на двор.

Была лунная весенняя ночь. Было тихо. Хутор давно спал. Лишь изредка, то там, то здесь, перелаивались хуторские собаки. Из палисадника несло пряным ароматом мяты. В речке изредка квакали лягушки. Из-за речки едва-едва доносился протяжно-спокойный, ласкающий напев старинной песни.

Бадня стоял за воротами своего двора и с удовольствием слушал, любуясь картиной ночного хутора. Вдруг скрипнули двери дома, раздалась по ступенькам

шаги и за ворота выбежала, переодетая в калмыцкий бешмет и джатак Эрвни и тихо спросила:

— Бадня, ты здесь?

— Ну!..

— А я заглянула к тебе в комнату, а тебя нет. Знаешь что? Нас с тобой звали сегодня на вечеринку, тут, недалеко. Будет пять-шесть девиц, несколько парней...

— Я не желаю... опять парни начнут допытываться о Боге, да и не интересно мне с ними. Хочешь, иди сама.

— Я одна не хочу... Пойдем, будь такой добрый. Знаешь, нас считают за гордых, за русских, а это нехорошо. Пойдем, там же наши родственницы будут, потанцуем, попоем... Ах, какая чудная ночь!... Пойдем... — не отставала сестра от брата.

— Ну, ладно. Пойдем!

Вечеринка, действительно, оказалась маленькой, интимной. Были только девицы и парни ихнего хотона. Эрвни и Бадня встретили очень радостно и почтительно. Были скромные, стыдливые девицы, были молодые парни-зубоскалы. Кто-то бойко играл на домбре, остальные, чередуясь, танцевали. Бадня и Эрвни научили их некоторым русским играм, прибавили к ним и калмыцкие игры, и вечер проходил весело.

Только к концу, далеко за полночь, один из парней сказал:

— Завтра будет дождь!...

— Почему? — спросил Бадня.

— Потому что завтра приезжает из хурула Лама, над родником будет служить молебен и попросит у неба, чтобы был дождь — отвечал парень.

— Думаешь, Лама в хороших отношениях с небом? — улыбнулся Бадня.

— Ну, вы, Бадня, опять свое! Ну, скажите нам: почему это каждый раз, когда Лама над родником служит молебен, непременно бывает дождь. Если мы с вами пойдем и будем молиться, дождь не пойдет. Почему это? Как может Лама вызывать дождь, если он не

имеет со святыми на небе связи? — спросил тот же парень.

— Видите, братья мои, вы все говорите, что я в Бога не верую. Это неправда. В Бога я верую, но я считаю, что излишни те люди, которые посредничают между нами и Богом. Лама не имеет никакой связи с небом, ибо никакого живого существа на небе нет. Да и неба никакого нет, это только воздух... — начал было Бадня доказывать.

— Ха-ха-ха!.. — шумно засмеялись парни, — Как же неба нет, что мы все слепые что ли, видим же!?.. Ну, а все-таки, почему идет дождь, когда Лама служит молебен над родником?...

— Потому, братцы, что он ученый человек. У него, наверное, есть такой инструмент, барометром называется, по нему можно за день, два и больше узнать погоду... Вот вы скажите мне: как русские профессеры, которые себя не считают святыми, также узнают погоду? Как ученые за год вперед узнают точно, когда будет солнечное или лунное затмение? Только наука знает все, — стал горячо доказывать Бадня.

Спор парней был скучен для девиц. Они перестали играть, танцевать. Эрвни поднялась первая и позвала брата домой. Вечеринка стала расходиться.

— Вот видишь, — говорил дорогою Бадня сестре, — опять этот Бог расстроил вечеринку, надоело мне спорить с темнотой.

— А ты не спорь. Я лажу с девицами, всегда найдем, о чем говорить, и никогда о Боге не бывает речи. Ты не спорь с ними. Это нельзя сразу всем доказать. Больше будет образованных, тогда народ постепенно поймет, что есть и чего нет, — серьезно отвечала ему Эрвни.

Бадня с удивлением и внутренней радостью слушал сестренку. Она ему представлялась еще глупой девчонкой, а не взрослой интеллигентной девицей.

Шаловливую и капризную Эрвни, с лукаво смеющимися узкими глазенками на смуглом личике, Бадня всегда баловал и привык смотреть на нее как на капризного ребенка. То, что она теперь так разумно и серьезно

рассуждала, свидетельствовало и о том, что и он уже взрослый мужчина.

— А есть ли у нее кавалер? Может, и Эрвни уже пишет кому-нибудь голубое письмо? — подумал он про себя, но спросить не решился. Для брата и сестры в калмыцкой среде такой разговор был бы слишком смел.

**
*

На другое утро Бадня был разбужен непрерывным мычанием коров, сгоняемых мимо их двора к пастуху — на площадь, для вывода на толоки.

Сбросив одеяло, он встал, оперся руками о край стола и несколько раз опустил и поднял грудь на напряженных руках. Потом натянул брюки, надел белую рубашку, босые ноги сунул в чуваки, сполоснул в коридоре холодной водой лицо и вышел во двор.

Мать и прислуга, хохоча до упаду, обучали Эрвни доить корову.

— Ты посмотри на сестру свою! Семнадцать ей лет, а она еще не умеет коров доить. Час доила самую смирную и не надоила даже кружки молока! — говорила мать Бадне, указывая на свою дочь.

Поиздевавшись над сестрой, Бадня пошел в сад и нашел там отца, пыхтя трубкой расхаживавшего по единственной незаросшей аллее сада. Пурве, по обыкновению, был в утреннем одеянии: в одном нижнем белье, в сапогах и в картузе.

— Ага, встал молодой хозяин! Как спалось дома после городской квартиры? Небось, у нас чище, а то, ведь, Бог ты мой, в городских квартирах люди дома на двор ходят, в специальной маленькой комнатке, а дух идет по всему дому! — заговорил Пурве, увидя сына, сотый раз повторяя свою остроту над городскими квартирами с уборными.

Бадня хотел было сразу приступить к разговору о невесте, но не смог. Было как-то неловко говорить с отцом о таком необыкновенном деле. Только когда вышли из сада и пошли к дому, с веранды которого уже

доносился запах жареных горячих борцов и горячего калмыцкого чая с мускатным орехом, он собрался с духом и, преодолевая невольное смущение, начал:

— Вы папа, знаете — в Зюнгарской станице живет калмык Дамба Дударович Абушинов.

— Так это тот самый мой приятель, с которым вместе табунщиковали! — воскликнул Пурве.

— Тогда хорошо. У него есть дочка, она в прошлом году окончила четырехклассное и получила звание народной учительницы, теперь учительствует в станице Цевдненской... Вы вчера сказали, чтобы я сказал... когда я... — Бадня на этом запнулся и дальше не мог продолжать. Как ни свободно он держался обычно с отцом, но на этот раз, словно, кто-то за горло его схватил — сбивался, краснел, обрывался.

Но Пурве сразу понял, в чем дело, и пораженный, воскликнул:

— Так ты, сынок, сам нашел свою невесту? Если звать ее Зиндмя, то это она!

— Ну, да, это ее имя. Ей тоже девятнадцать лет, — удивленно ответил Бадня.

— Боги, боги! Мы-то с Дамбой, как разъехались, так и не вспомнили о нашем сватовстве, а дети наши сами нашли друг друга!.. Значит, и Дамба отдал свою дочь в школу? Молодец! Вот это дюже хорошо! Мы уж с Дамбой полалим и порадуемся. А вот ты все доказываешь мне, что Бога нет, судьбы от Бога нет, а вот почему так случилось с тобой, что ты нашел невесту, которую мы напекли тебе в первом году рождения, а потом забыли? Разве это не судьба!?

— Ну, судьба!.. Какая же судьба?.. Просто, редкий случай...

Пурве махнул рукой и, ускорив шаги, направился прямо на кухню, чтобы поразить и обрадовать жену.

За чаем Эрвни то и дело вскидывала глаза на брата и лукаво улыбалась. А мать, с умилением и любовью глядя на сына, порою молчаливо утирала глаза платком, что неизменно висел у нее за поясом. Эрвни, как сестру, любила Зиндму, дружила с нею, в четырех-

классном училище, пока не перешла в гимназию, и была теперь рада, что Зиндмю будет женою ее любимого брата. А Уланка еще помнила маленькую слюнявую Зиндмю, которую в Борокчунском хотоне она часто ласкала и, как Бадню, кормила ее иногда своей грудью. То, что теперь она будет ее невесткою, умиляло и радовало ее.

На другой день пара вороных жеребцов, запряженных в новую четырехместную тачанку, уже покатила в станицу Зюнгаров. Езды до нее от Боглая было на большую часть весеннего дня.

Пурве, изрядно вспрыснувший дорогу, несколько раз почтив с бутылкой раки память почивших в придорожных курганах старинных богатырей, на полпути заснул на заднем сидении тачанки. Кучер Павло, родившийся и выросший в Боглае мужик, по-калмыцки говоривший свободно и лучше, чем по-русски, вместе с хозяином тоже не раз помянувший курганных богатырей, весело напевал калмыцкие песни, подгоняя жеребцов.

Когда солнце еще было «на два аркана до захода», приехали они в Зюнгарскую станицу, что стояла на маловодной степной речушке Куберле, впадающей в Сал. Станица — серые однообразные небольшие деревянные домики с садами при них — как-то не по-степному густо была расположена по одну сторону речки. По другую сторону, как раз напротив, была уже другая станица Кевюдов. На первый взгляд, Зюнгарская казалась беднее Боглая, но большие стада коров на толоке, белые тучи овец, а ближе к станице стада телят, множество стреноженных и свободных коней, зеленеющие хлеба, свидетельствовали, что она такая же богатая и Богом благословенная станица, как и другие.

Когда тачанка Пурве въехала в открытые ворота абушиновского двора, и басисто залаяла большая черная собака, из-под навеса амбара встала рослая, стройная девица в белом бешмете без пояса, с непокрытой головой, и, оставив на месте швейную машину с

шитьем, раскрытую книжку, направилась в дом. Пурве поразился красотой девушки. Большие, чуть-чуть навькат, ласковые глаза, прямой точеный носик, чистое светлое продолговатое лицо, красиво были гармонированы Создателем и делали девицу отменной красавицей среди круглолицых, смуглых и узкоглазых калмычек. Длинная и толстая каштановая коса дополняла красоту лица и фигуры девицы.

— Здорово, дочка! Ты не Зиндя ли будешь? Я тебя вот какой знавал! Дома ли твой папа, мой старый друг, и мама? — загремел Пурве, не давая девице ответить на свои вопросы.

— Сейчас придут, они у соседей, — сромно отвечала девушка, мельком взглянув на незнакомого смелого старика в черном шелковом бешмете с голубым кушаком.

— Так ты, детка, пусти меня в дом. Изморился, целый день по жаре едучи, а потом позови своих родителей! А ты, Павло, распрягай и заводи жеребцов, вон под тот навес, да не забудь их привязать отдельно, чтобы не дрались! Проклятые жеребцы — целый день бегали по жаре и хоть бы чуть присмирели! — по обыкновению, хвастнул Пурве, беря в руку желтый кожаный «дялинг» и следуя за девушкой в дом.

В полутемной комнате, со ставнями, закрытыми с солнечной стороны, было чисто и прохладно. «Хорошо живет Дамба», — подумал про себя Пурве. Девушка хотела постлать по калмыцкому обычаю расшитый войлок-«ширдик», обычно, служащий для сиденья, но Пурве прервал ее намерение, сказав: «Ты, дочка, не стели мне ширдик, я привык уж сидеть на стуле, по-русски, сяду на стул, это удобнее, чем, скорчив ноги, сидеть на полу. А ты, дочка, не знаешь, кто — я?! Ты не слышала про Пурве Цагакова из хутора Богла, у которого сын семиклассную? . . .»

Пурве не удалось до конца отрекомендоваться. Как только он назвал свою фамилию и слово «сын», девушка зарделась густым румянцем и выпорхнула вон из комнаты.

Оставшись один, Пурве заколыхался в беззвучном смехе, довольный, что ошарашил девушку. «Чудная, прекрасная девица. Сын мой не промахнулся. Хоть и образованная, но стыдится, значит, не забыла наших обычаев. Это хорошо!» — подумал Пурве, развязывая «дялинг» и вынимая из него бутылку раки и белый узелок с конфетами и пряниками — традиционные элементы первого официального сватовства. В это время слышались на дворе шаги, детские возгласы и сдержанный говор возвращающихся хозяев.

Старые друзья — Пурве, Дамба и жена его, удивленно и радостно поздоровались. Но как только хозяева увидели бутылку и узелок перед Бурхан, сразу сделались серьезными и сдержанными. Пурве понял, что постепенно подойти к вопросу не удастся, и, после нескольких обычных слов о погоде, траве и хлебе, решил прямо приступить к делу.

— Ну, старый друг Дамба, и ты, Юлга, вы знаете нашу поговорку: «слово сказанное, что надрез на дереве — одно, они не стираются». Двадцать лет тому назад мы с вами добровольно дали друг другу слово — быть сватами. Теперь я приехал наши слова закрепить законно. Слава Богу — наши дети здоровыми выросли...

— Подожди, Пурве. Все это так, но где же ты был до сих пор, что ты думал все эти двадцать лет? Почему ты до сих пор ни разу не напомнил о нашем слове и не навестил меня? Ведь расстояние между Богла и Зюнгаром не такое великое! Ты не чувствуешь вины за собою? — раздраженно спросил его Дамба.

— Вина моя, Дамба, но были причины...

— Я знаю эти причины: ты разбогател, твой сын проходит большую науку в городе, ты возгордился, думая, что Дамбы дочка простая калмычка, что Дамба беден. А теперь узнал, что Дамба живет, слава Богу, не бедно, а дочка его учительница, и ты вспомнил о нашем слове! Разве я не читаю твое нутро? Нет, ми с бабкой на вас сердиты!.. Ты должен просить и просить прощения у нас! — прижал Дамба друга к стенке.

Пурве побледнел, вздрогнул, но пересилил себя и встал:

— Милые мои друзья, я виноват перед вами и истинным сердцем прошу вас меня простить. Я вас по-прежнему люблю, но знаете, какие мы, калмыки, беспечные люди. Все думалось: авось увидимся, сегодня некогда, завтра занят, там новая забота, суета... Простите меня! — взмолился Пурве.

— Ну, «кто вину познал свою, тот уже невиновен» — говорится у нас, будем друзьями по-старому. Бабка, ты иди там готовь что кушать, а мы с Пурве поговорим, — сказал Дамба мирным тоном. — Ну, ты, значить, приехал узаконить наше сватовство? — обратился он к Пурве, — дело тут, видишь, в чем?.. И твой сын и моя дочь — люди новые, иного ума... С нашими старыми обычаями они не всегда считаются. Тут, кроме моего и твоего согласия, нужны и их слова. Этот порядок уж начинает у нас узакониваться. Ты скажи мне: с согласия своего сына приехал ко мне, или нет?..

— Я, признаюсь тебе, друг, по его просьбе, — улыбаясь отвечал Пурве.

— А он знаком с моей Зиндмь? — тихо спросил Дамба.

— Знаком.

— Ну, тогда я узнаю через свою бабуку, что скажет дочь, — отвечал Дамба. В эту минуту вошли в комнату девочка лет двенадцати и мальчик лет десяти и робко остановились у дверей, глядя на гостя.

— Это мои дети, — сказал Дамба. — Дочка во втором классе четырехклассного, а мальчик в первом классе реального, в Великокняжеске.

— О, ты счастливый Дамба! У тебя трое детей. У меня только сын и дочь. Подойдите сюда, дети, нате вам, — проговорил Пурве, протягивая им целую горсть карамелей. Дети, получив гостинцы, вышли.

— Так ты, Пурве, посиди. Я пойду к бабке. А потом и позовем родню, — сказал Дамба и вышел.

Пурве с беспокойством стал ждать. Он не знал, имеет ли его сын согласие барышни. «Кажется, знает, ведь

девица покраснела и выбежала, как только я заговорил о сыне», — размышлял Пурве. Вдруг он услышал на дворе голос Дамбы: «Сандже! Обеги всех наших родственников и позови к нам всех стариков и женщин. Скажи, что гость!».

— Ну, слава святым! — подумал Пурве, видя что дело приняло хороший оборот, ибо для отказа родню не стали бы звать его старые друзья.

**
*

К вечеру второго дня вернулся Пурве домой. Он был в приподнятом настроении, был еще более шумен, хвастлив и навеселе.

— Ну, бабка, все обошлось хорошо!.. Засватали мы сыну невесту такую, что во сне будет сниться! Ты знаешь, какая красавица стала наша Зиндмя? При блеске ее можно шить без огня, при свете ее ночью табун окрауливать!.. Такой красавицы не будет во всех тринадцати калмыцких станицах Дона! — умышленно громко кричал Пурве на весь двор, чтобы слышно было у соседей.

— Ты, бабка, скорей налаживай раку, а Эрвни пусть созовет нашу родню. Нужно это событие вспрыснуть всей родней!..

Радостно засуетилась и забегала Уланка, исполняя приказание мужа. Но все же успела спросить у него:

— А как живут Дамба и Юлга?.. Помнят нас?.. Постарели?

— О, живут они хорошо, густо!.. Обижались, что мы забыли их, но я уж поклонился им и просил прощения. Постарели и они не меньше нас. У них еще дочка и маленький сынок. У него тоже все дети учатся! — удовлетворил любопытство жены Пурве, уходя к себе в дом.

Через час вся родня Цагаковых была уже в сборе, и все шумно, и радостно расспрашивали Пурве о сватах, о невесте. Пурве давал волю своему языку, склонному в такие минуты к преувеличениям:

— Сваты наши живут богато: видны хорошие сараи, большой досчатый баз, крытый жостью амбар, живут в деревянном доме, имеют шесть пар добрых быков, четырех лошадей. Аккуратно, чисто, домовито. Но со мной, конечно, не сравнятся. Такого сада, как у меня, в Сальском округе нет!

Когда же разговор касался невесты, то он терял над собою власть и вдохновлялся вовсю.

— Сказать вам, какова наша невеста? Языком это не расскажешь!.. У меня не хватает слов, чтобы верно подать ее красоту. Ни одна из вас, бабы, не была такою! Она высока ростом, но не так жердь, а в меру; стройна, как тавалжанный трост; лицо светлое и приятное, как хороший чай с молоком; щечки, как яблочки вычищенные, все — как кровь и молоко! Нос, словно из мела выструган умелой рукой. Глаза — большие, темно-янтарные, густыми и длинными ресницами окружены, как чистый родник частой кугой! Длинная и толстая коса темнокоричневой змеей по спине извивается! Ну, как еще можно быть красивее?! — кричал Пурве.

Между тем поспела рака. Пахучей парующей горячей ракой брызнул вверх самый старый мужчина из присутствующих, благодаря небо за посланное обилие дому сему, а затем, налив себе и младшим мужчинам, торжественно произнес:

— Да будет на счастье крепко все то, что совершено по закону богов и природы. Пусть будут счастливы наши Бадня и Зиндмя, многолетни и многодетны. Да витают вечно над ними духи их создателей и по правильному пути направляют их жизнь на радость и счастье родителей.

Собрание родственников со вниманием выслушало стариково благословение, и каждый выпил свою долю раки вслед за стариком.

Бадня, как только услышал радостные и хвастливые возгласы отца, ушел со двора и в каком-то непонятном душевном смятении ходил по соседям, хотя он и не имел оснований сомневаться в ином исходе сватов-

ства. Он чувствовал, что в его жизни сделан какой-то крупный шаг. Он был уже официальным женихом самой красивой и самой популярной девицы среди калмыцкой молодежи.

На другой день после приезда отца Бадня написал невесте восторженное письмо, описывая, как радостно приняли все родственники известие о сватовстве и как счастливы его родители, как они любят уже Зиндму, свою будущую невестку.

ГЛАВА 3

Вернувшись домой по окончании реального училища, Бадня втянулся в хозяйственные дела. Часто копался в саду, косил траву, скидывал с лобогрейки хлеб, накладывал возы, таскал мешки с зерном и большую часть лета провел в степи, на молотье и при пашне.

Он заметно поздоровел и почувствовал себя сильным. Налились и напряжились мускулы. Всегда имел волчий аппетит, который сытно и обильно удовлетворял сметаной, яйцами, молоком, бараниной, яблоками и арбузами. На ветру и на солнце он до черноты загорел. С наступлением осени, он стал верхом сопровождать в Романовскую станицу возы с хлебом — на продажу в Парамоновскую сыпку.

Пурве не мог нарадоваться и нахвалиться сыном. И без того любивший его без ума, он не упускал случая твердить соседям:

— Фу, и сын у меня! . . И ученый, и работающий, такой сын за десятерых сойдет. Этот подрастет, так подымет свою станицу за уши и прославит ее имя! А как красиво и умно говорит! Прямо любо слушать . . . Хорошее дело школа! Даже мою Эрвни, этого галченка, школа сделала умнее меня!

Хоть и была правда в хвастовстве Пурве, но соседи его за это именно не любили. «Дети у Пурве безбожники, полукалмыки — полурусские, быть им в аду, горячем и холодном», — говаривали между собою соседи.

Поредевший в мужчинах хутор Богла трудами женщин, подростков и стариков справился с летними работами. Урожай в этом году был отличный, а рабочих рук не хватало. Пришлось молотить всю осень или целыми хотонами нанимать машины.

Тихи и скучны зимы в калмыцких хуторах, а теперь, во время кровавой войны, отнявшей уже не мало жизней, было еще тише и печальнее. Война калмыками воспринималась как Божье наказание, так частная ссора между императорами Николаем и Вильгельмом,

которые, однажды, за дружеской выпивкой, решили посостязаться армиями, как коннозаводчики лошадьми на скачках. Поэтому смерть в этой войне казалась бесполезной, напрасной смертью — «на чужом пиру похмелье».

Оживление вносили лишь служивые, изредка прибывавшие домой в отпуск, или по льготе после ранения или болезни. В таких случаях сбегались все соседи, которые наперебой спрашивали о своих родственниках на фронте, со страхом и вниманием слушали рассказы фронтовиков об ужасах войны — о пулеметах, дождем сеющих пули, гигантских снарядах, аэропланах, но больше всего интересовались миром, ибо война уже сжимала хозяйства, а у многих отняла или грозила отнять милых сыновей, будущих хозяев.

В каждой станице, в каждом хуторе уже насчитывался десяток убитых, искалеченных или без вести пропавших. Многие молодайки успели овдоветь, а иные и вторично выйти замуж.

В январе приехал в Богла прославленный подвигами подхорунжий Маркусов. Станичный атаман на сборе уже несколько раз оглашал благодарность Наказного Атамана лихому станичнику. Маркусов был сосед и дальний родственник Цагакова. Грудь Маркусова была увешена боевыми наградами — четырьмя георгиевскими крестами и четырьмя медалями. Небольшого роста, аккуратный и красивый лицом, Маркусов своими крестами и медалями произвел на хуторцев большое впечатление. Хата его старых родителей не могла вместить желающих собственными глазами увидеть своего хуторского героя. Из уст в уста передавалось, что Сальский окружной атаман, когда Маркусов вошел в окружное правление, скомандовал громко: «Встать герою!» и что все чины окружного правления вскочили и застыли.

Собравшиеся первым долгом заставили Маркусова рассказать о своих подвигах, хотя они уже были известны из его писем.

— А как там дела на фронте, крепко ли держится армия русского хана? — спросил, улучшив минуту, всеми почитаемый на хуторе старик-богомол Бадьма.

— Что я могу сказать?.. Для нас не видно, чтобы немцы могли нас одолеть, хотя они воюют дюже хорошо. У нас войска видимо-невидимо, весь тыл и фронт полон серыми шинелями. Их не жалеют, гонят в бой, как скотину. За час полк выбьют, на это место прут еще два полка. Был недостаток в пушечных снарядах, но в этом году лучше. Я сам видел ящики снарядов с надписями: «Снарядов не жалеть!». Раз снарядов не жалеть, да солдат не жалеть, так проиграть не можем. Питания в армии вдоволь. Маслом, мясом, сахаром, хлебом закармливают, а у немцев, слышно, хлеба уже не хватает, да и люди уже с 18 по 50 лет забраны. А у нас еще 22-летние и 40-летние дома, — авторитетно толковал собравшимся Маркусов.

— Если так, то хорошо. Дай Бог, чтобы вы, дети, хорошо кончили войну, но беда грозная надвигается на царство Российское, только откуда она идет и с чего начнется, кто его знает! Большие события предстоят в этом году: у кого ни спросишь, у каждого пошли плохие сны, плохие приметы; значит, надвигается какая-то общая беда. А потом — слышали? Недавно верблюд на Янов курган забрался! Это не зря, к большим событиям в жизни страны этой. Добро бы еще летом. Бадня Цагаков наверное бы объяснил, что от жары верблюд на курган забрался, хотя наша жара для верблюда пустячок. А тут зимой, будто нарочно для этого выйдя со двора, прямо пошел и забрался на самый высокий курган! Очень нехорошо это, — скорбно проговорил старый Бадьма, перебирая свои коралловые четки.

— Неужели верблюд никогда так запросто не может на курган забраться? — с улыбкой спросил Маркусов.

— Н-е-т!.. Никогда!.. Наши отцы говаривали, что только в 1812 году, перед поголовным поднятием Дона Атаманом Матвеем Платовым, верблюд взбирался на курган. Только перед очень большими событиями это

случается. Примета эта самая верная, не нами выдуманная, а на наблюдении тысячи поколений основанная, — со спокойной уверенностью отвечал Бадьма.

— Что и говорить, эта примета верная. Верблюд же такое животное, что зря не станет нарушать своих привычек. Обыкновенно никогда он добровольно не всходит на крутой курган, и если нужно человеку посмотреть что с кургана, так приходится его колотить. Верблюд же из всех четвероногих — ближе к человеку и по уму и по сердцу: ему ведом стыд, он помнит зло десятки лет и мстит. А потому, когда верблюд предчувствует приближение беды, нарушением своего обычая он старается нам дать это понять, — заговорил другой старик.

В это время вошел Бадня. В здоровенном, смуглом молодом калмыке Маркусов не угадал того школьника-мальчугана, каким Бадня был, когда Маркусов выходил в полк.

— А что скажет на счет верблюдов наш студент? — вызвал один из сидевших Бадню.

— Не знаю, с чего началось, а только слышал, как тот отец говорил, что верблюду свойственен стыд и злопамятность! Вы, мои отцы, как дети: ну, какой там у верблюда стыд, когда он прямо на глазах у людей мочится, какая у него злопамятность, когда на нем ездят и по бокам колотят палкой, и он ничего! — воскликнул Бадня, вызывая дружный смех присутствующей молодежи.

— Ты, Бадня, скажи мне правдиво: видел ты хоть раз верблюда, кроющего верблюдицу! — улыбаясь спросил старик Бадьма.

— Нет.

— Вот тебе и есть стыд. Скорее вашего брата, молодежь, увидишь за этим занятием, но не верблюда. А что он мочится при людях, так если тебя запречь в воз или привязать к столбу, не то еще будешь делать! — под взрыв хохота всей комнаты сказал Бадьма. — Тоже самое злопамятность. Если, к примеру, маленького верблюжонка мучить, издеваться над ним, то, став

взрослым, если он окажется на свободе и встретит вас один на один, всегда задавит. Сколько в наше время было таких случаев! А потом, верблюд единственный из всех четвероногих плачет, слезы горькие льет, когда горюет, — продолжал он, окончательно сокрушая Бадню.

— Ну, на этот счет с вами, отец Бадьма, не буду спорить! — воскликнул Бадня и пригласил Маркусова к себе, на уже готовый обед и чашку водки.

Маркусов поднялся, надел шинель и вышел с Бадней. За ними, без всякого приглашения, повалили и многие из присутствующих. Для фронтовика, его родни и добрых соседей начинались дни гульбищ, домашние праздники.

Маркусов пошел на службу, не успев жениться. А было ему уже двадцать восемь лет.

**
*

Вечером того же дня он был приглашен в дом его сослуживца, жена которого, Отха, специально по случаю приезда Маркусова, собрала вечеринку местной молодежи. Землянка была полна веселым гулом, когда Маркусов, Бадня и Эрвни пришли туда.

— Скидывайте шинель, будьте вольны, буду угощать вас так, как если бы приехал «наш человек», который вместе с вами там страдает. А вы, Бадня и Эрвни, садитесь на стулья за столом, а остальные устраивайтесь кто-где! — развязно распорядилась молодая, красивая с аккуратными формами смуглянка-хозяйка.

Как самого почетного гостя, Маркусова она посадила на свою постель, чтобы он, удобно облокотившись на подушки, полулежа, мог наблюдать за вечеринкой.

— Ваш муж служит молодцом, он взводный урядник, представлен к кресту, конь его в отличном состоянии. Там у меня есть от него гостинец для вас, должен вам наедине передать, — сказал Маркусов, усаживаясь на почетное место.

Маркусову, давно покинувшему свой хутор, приятно и любопытно было среди молодежи, которая выросла в его отсутствие. Во взрослых парнях и девицах он с изумлением узнавал прежних босоногих мальчишек и дечонок. Перед кроватью, на которой сидел Маркусов тесно прижавшись одна к другой, сидели в ряд около десятка девушек в разноцветных бешметах, все в горящих золотом расшитых черных бархатных джатаках, туго подтянутых серебряными позументовыми кушаками. Среди них были и очень миловидные, на которых Маркусову хотелось неотрывно смотреть, но «есть глазами девиц» молодому человеку считается неприличным, и он остановил свое внимание на бойко распорядившейся хозяйке. Были тут и две-три молодайки, бывшие барышнями, когда он выходил в полк. Вдоль стен стояло и сидело много молодых парней, которые оживленно о чем-то спорили.

Как только гость занял свое место, один из парней снял свою красную курпековую шапку, положил туда сам бумажный рубль и стал обходить товарищей. Каждый бросал в шапку свою долю, — кто рубль, кто три. К девицам сборщик не подошел. Обошел он и Маркусова. А когда Маркусов сам потянулся за кошельком, все парни громко запротестовали и заставили его спрятать бумажник.

Закончив сбор и подсчитав сумму, сборщик спросил, что купить для вечера.

— Две четвертных кишмишовки?

— Братцы, нельзя ли без водки? Ведь, тут нас — самая молодежь, могли бы весело время провести и без выпивки! — обратился к ребятам Бадня.

— Десять фунтов баранины, пять булок, восьмушку чая, три фунта сахара, два фунта кураги, десять пачек папирос! — стали выкрикивать парни, будто не слыша обращения Бадни.

— Ну, что еще? Не забывайте, денег хватит на все и останется! — продолжал сборщик.

— Семячек и конфет для девиц, вы только о себе думаете! — укоризненно сказала Эрвни.

— Вот это правильно Эрвни говорит, не то, что Бадня! Купить для девиц конфет и семячек, пусть себе щелкают, а мы будем рюмочками согреться, — смеялись парни.

Как только посыльные ушли за покупками — будить среди ночи местного лавочника Зува Кушкина, хозяйка распорядилась начинать вечеринку. Одна из девиц достала из-под кровати грубо сколоченную домбру с двумя жильными струнами и четырьмя ладами и принялась настраивать. Она была мастерицей своего дела, и скоро четкие и частые звуки плясовой залопотали по комнате, вызывая зуд в ногах у заядлых танцоров.

Танцы начала сама хозяйка. Смущенно зардевшись ярким румянцем, горящие огнем черные глаза полукрыв густыми ресницами, крыльями вытягнув руки в массивных серебряных кольцах и браслетах с коралловыми и бирюзовыми украшениями, задорно и энергично трясясь телом и колыхая упругими грудями, чуть слышно, легко топоча в такт игры ножками в маленьких шевровых сапожках, нарядной бабочкой кружилась она перед музыкантшей.

Маркусов невольно забыл обо всем на свете — о фронте, о полке, о товарищах, о делах — и восхищенно залюбовался Отхой.

Передала танец Отха, как и надо было, самому почетному гостю вечеринки — Маркусову.

— Ну, потанцуйте-ка, стряхните фронтовой сор, или вы уже позабыли свой танец? .. Фу, девушка так славно играет, что с удовольствием тряхнула стариной! — весело и возбужденно говорила она, игривым взором обжигая Маркусова и с излишней силой в руке прикасаясь к его плечу, передавая этим танец.

«Хоро-о-о-шенька бабенка моя односумка*)», — подумал Маркусов с циничностью холостяка-солдата.

Вечеринка началась. Танцоры сменяли друг друга, парень передавал танец барышне или молодайке, а те

*) Жена однополчанина.

мужчинам, а по тому, кто кому передает танец, безошибочно можно узнавать о скрытых симпатиях молодежи. Между тем, хозяйка, с шутками и прибаутками, затопила печь и вскипятила чай. Вернулись скоро и посыльные с покупками. Поставили на огонь баранину, стали наливать и разносить кишмишовку, перед девицами на низеньком столике поставили в тарелке конфеты, высыпали много стаканов семечек.

Между танцами полилась песня под водку, под чай, непринужденнее и громче стали разговоры, посыпались шутки, остроты, землянка наполнилась шумом и смехом. Бадня заявил, что решил научиться танцевать по-калмыцки и под дружный хохот девиц стал неуклюже подпрыгивать, не попадая в такт и путаясь. Эрвни начала его учить. Вечеринка разгорелась во-всю. Время от времени, в перерывах между танцами и песнями, затевали игры.

Одна из девиц сняла с пальца маленькое серебряное кольцо и начала, с ближайшей соседки, давать его каждому в руки. Она делала вид, что сунула кольцо в руку каждому, и каждый делал вид, что кольцо у него. Обойдя всех, за исключением последнего в кругу, она начала с него вопросы: «У кого кольцо?». При этом опрашиваемый протягивал ей ладонь руки, а она била по ладони скрученным в шгут платком. После удара отгадчик указывал лицо, у которого, по его мнению, находится кольцо. Если здесь кольца не оказывалось, то этот указывал дальше. Кто нашел кольцо, тот вставал вести игру дальше. Разумеется, разносчик оставлял кольцо в руке того, к кому он питал симпатию.

Потом началась игра в жгут. Вся молодежь разделилась на две половины. По жребью, одна группа положила одного своего игрока посередине, лицом вниз. Другая — протягивала над спиной лежащего руки, якобы каждый собирался ударить его по спине; улучив минуту, один из них быстро наносил жгутом удар по спине, и все в группе отдергивали руки. Лежащий должен был как можно скорее вскочить и угадать, кто нанес удар. Если он три раза подряд не угадывал, то пере-

ходил, как приз, в собственность противной стороны. Партия, потерявшая половину состава играющих, считалась побежденной. По тому, как сильно или мягко ударит человек по спине лежащего, также угадывается его чувство.

После игры приступили к баранине, к горячему бульону, к чаю с сушками и курагой. Своим чередом разносилась водка, лилась песня, попутно шло и состязание в танцах. Вечер удался на славу. Никому скучно не было. Вспомнив свои юношеские годы, от души веселился и Маркусов. Всеобщее веселье сняло излишнюю застенчивость с девиц, и они уже подпевали и смело танцевали. Шел невинный тонкий флирт — путем передачи очереди на танец.

Эрвни от стола перешла к девицам, стала ими командовать и под шумок научила их русской игре в фанты. Игра эта молодежи очень понравилась, и час убили за новой игрой.

Пропустившие для смелости по паре рюмок, молодые жармелки стали в ряд перед Маркусовым и, со специальной старинной игривой песней, выражающей симпатию, поднесли ему большой бокал водки вне очереди. Не хотелось Маркусову выпить сразу такую порцию, но от чаши молодежи и с этой песней было бы неучтиво мужчине отказываться.

— «В стволах яблонь есть ли разница, есть ли различие между мужчинами?» — лилась звонко и стройно песня из уст молодых и прекрасных женщин.

— Выпейте, господин подхорунжий, забудьте хоть на нашем вечере ужасы войны! От таких молодежи, да с такой песней, я бы яд смертельный выпил! — острил один из парней.

Маркусов дождался нужного места в песне и, поблагодарив песенниц за почет и внимание, выпил весь бокал. Через некоторое время, почувствовав опьянение, он прилег на той же постели, на которой сидел, и, пьяно раскинув руки, заснул...

Далеко после полуночи вечеринка начала расходиться. Бадня хотел было будить Маркусова, чтобы

отвести его домой или к себе, но хозяйка запротестовала:

— Ай, да оставьте его, пусть спит, все равно не дойдет домой, напоить человека до падения, а потом среди ночи выпроваживать нехорошо. Пусть спит себе, а я постелю себе на земле.

Проводив гостей, слегка подвыпившая хозяйка спешно убрала комнату, заложила ширдеками окна и заботливо начала раздевать Маркусова. Без труда стянула она сапоги, расстегнула френч. Чтобы снять его, ей пришлось приподнять и держать пьяного в объятиях.

Маркусов проснулся при снятии первого же сапога, но притворялся и разыгрывал бесчувственно пьяного и дальше. Кулем повиснув в ее объятиях, валясь на бок вниз головой, он мастерски играл роль. Он чувствовал, как дрожат раздевающие его руки.

Стянув с трудом френч, Отха остановилась в нерешительности. Вдруг она задула лампу, живо скинула в темноте с себя халат, швырнула сапоги под кровать, в одной рубашке-распашонке впорхнула к Маркусову под одеяло и, трепеща всем молодым горячим телом, страстно прижалась к нему...

— И рано же вы вздумали прикинуться пьяным, наверно многие догадались о вашей комедии, — говорила успокоенная Отха, все еще с наслаждением прижимаясь к мускулистому телу мужчины.

— Э, ничего — подумают, что я слаб от фронтовой жизни на водку. Я боялся, чтобы меня на самом деле не накачали до пьяна, на черта мне водка? ... Этого добра и там находим, а вот такое мы только во сне видим — отвечал ей Маркусов, крепче прижимая Отху и поглаживая ее по голой спине. — А там твой муж однажды похвалялся, что ты у него баба твердого нрава, а ты, значит, вот так? .. — спросил он, усмехаясь в темноте.

— Мой человек говорил правду! Шесть лет и мокрой ложки во рту не было! Первый раз за шесть лет с женщиной легла, первый раз грешу! — рассердилась Отха. — Молодая я еще, муж на третьем месяце после свадь-

бы оставил меня и вот уже шесть лет, до этого часа, ждала его честно, да только теперь спотыкнулась, потому что конца не видно — докуда терпеть не вдовой и замужней женой. Сперва ждала четыре года, радовалась, что безгрешно выдержала, а тут когда к осени ждала его, вдруг эта война поднялась, и вот уже два года терплю, — скороговоркой, с волнением, говорила Отха и вдруг заплакала, горячими слезами капая на открытую грудь Маркусова.

Ему пришлось утешать ее, успокаивать, обещать — не выдавать никому ее тайну, доказывать, что он понимает, оправдывает и благодарит ее, что она доставила ему радость — одинокому человеку, тоже целых шесть лет лишенному семьи и уюта домашнего. Понемного Отха успокоилась.

— А чего-же ты так долго мучилась, разве парней мало, за такой бабочкой сто парней должно бегать!

— И-и!.. Да и то их бегают немало! Не хотела имя мужа чернить... С молодыми парнями нельзя тайну иметь, сейчас же разнесут и ославят... Как только услышала, что вы собираетесь в отпуск, решила с вами согрешить, потому знаю, какой вы хороший человек, не станете плевать в колодец, где напились, потом и одинокий вы и томитесь, решила потешиться с вами, а там — что Бог даст. Если благополучно пройдет мой грех, буду вечно его отмаливать, мужу поклоняться... Он тоже меня должен понять — не баловница я, честную девицу он взял и честной женой была, да только война проклятая с пути сбивает... Ну, а дальше опять себя на узду возьму, — искренно лепетала Отха... Ночь пролетела, не дав им соснуть.

**
*

Тихая и мирная жизнь в родном хуторе успела за месяц втянуть Маркусова в свое течение и незаметно опутать его своими невидимыми нитями. Месячный отпуск для него прошел незаметно, быстро, в жадной и

страстной любви с хорошенькой Отхой, которую он полюбил свободным сердцем.

Хоть и был Маркусов героем и любимцем в своем полку, где он за шесть лет стал чувствовать себя как в родной семье, но обратно из родительского дома выехал с тяжелым сердцем, без всякой охоты. Картины фронта, с его непрерывным гулом орудий, с морем копошащейся массы серых грязных шинелей, с мириадами насекомых-кровососов и ежедневными ранениями и смертями — вызывали в нем теперь отвращение и со-сущую боль в сердце, ослабляя волю.

Когда он с трудом, скорее машинально, откусал последнее приготовление домашней кухни и, ополоснув рот, трижды земно поклонился перед статуей Будды и, повернувшись, очутился в объятиях беззвучно рыдающей старушки-матери, Маркусов не выдержал. Тугой комок, что с утра застрял в горле и мешал говорить, вдруг прорвался и, вместо с глубоким вздохом, теплым слезным потоком вырвался наружу.

Когда он сел в тачанку, и старый отец, сдерживая пару добрых коней, выехал со двора на прямую и широкую улицу, что делит хутор Богла, сверху до низу, на две части, выбежала из своей землянки Отха и, махая рукою, что-то крича, побежала к ним наперерез. Отец остановил коней и подождал ее.

— Вот гостинцы нашему человеку; передайте ему от меня поклон, скажите, что хозяйство его в порядке. А тут в узелке пара белья, два куса сала и бутылка настоящей водки — все берегла к его приезду, да не скоро, видно, он приедет — быстро, запыхавшись от бега, говорила Отха, теплом живых глаз лаская Маркусова. Потом проговорила обычное: «Езжайте здоровым и здоровыми возвращайтесь со всеми станичниками домой» и, утерев рукавом коричневого фланелевого халата невольно капнувшую на нос слезинку, повернулась и пошла прочь.

У Маркусова пуще прежнего заныла душа. Он уже крепко полюбил эту бойкую, миловидную молодайку

и привязался к ней за месяц, как неотрывной частице своего бытия. Разлука с ней, а главное то, что не мог ее открыто приласкать и проститься с нею, — томила его.

Но как только Маркусов приехал к вечеру на станцию и, попрощавшись с отцом, вошел в вагон отходящего поезда, тоска и тяжесть с сердца как-то сами собой улетучилась. В душу вошли думы о полке, о коне, о товарищах.

В полку его ожидала приятная новость — производство его в хорунжие, ожидавшееся уже давно. Как раз в день его возвращения было об этом отдано в приказе по полку. Вечером того-же дня он представился командиру полка, который его поздравил, а новые товарищи-офицеры — ознакомили прием его в свою семью выпивкой — «мытьем погон». Домашние гостинцы Маркусова — колбаса, сало, гусь, копченая рыба и две бутылки водки — оказались очень кстати.

Офицерское положение для него не было ново. Исполняя давно обязанности взводного, Маркусов вращался в офицерской среде своего полка и, как самый боевой подхорунжий, полный бантист, пользовался там уважением. Как урядник, отлично кончивший учебную команду мирного времени и шестой год тянущий служебную лямку, он лучше многих молодых офицеров знал службу.

На другой день вечером пришли в его землянку все его хуторцы и станичники этого полка. Он должен был целый вечер рассказывать им станичные новости. Каждый спрашивал, что ему на ум взбредет: кто женился, кто как выглядит, кто и что построил, какого купил коня, продал ли быков, каков был урожай, как отмолотились, какие поют на вечеринках песни...

В конце беседы, когда повеселевшие станичники собирались уходить, урядник Будяшов — муж Отхи, — держа в руках гостинцы от жены, смущенно усмехаясь, спросил:

— Ну, ваше благородие, у всех этот вопрос на кончике языка, да никто не решился: как там наши бабы

живут? Ребята, главное, об этом беспокоятся, а не спрашивают. Да и моя Отха, бедняжка, уже шесть лет жармелничает... Куда там, бедной, себя блюсти, ведь молодая она!

Маркусова что-то неприятно кольнуло, но, не выдав своего смущения, он серьезно ответил:

— Ваши жены, братцы, живут хорошо: ни одна сильно не нуждается, все усердно берегут хозяйство, оберегают ваше добро, дом и скот. Ведут себя безгрешно, не шалят. А твоя Отха, Будяшов, молодцом, все соседи ее хвалят, даром что одинока, а бойко хозяйствует и ничего дурного про нее не говорят.

По лицам станичников разлилась радость. Маркусов понял, что правильно ответил на вопрос Будяшова. Станичники ушли от Маркусова успокоенные и радостные, словно сами побывали в своей родной станице.

В эту ночь Маркусов был дежурным по участку. Была обыкновенная спокойная фронтовая ночь. Кое-где, то близко, то далеко, постукивали в темноте выстрелы, тихо посвистывая, пролетали пули, изредка тарахтела пулеметная очередь, иногда свет германских прожекторов светлотуманной лентой прорезая тьму, то скользил над линией окопов, то, взметнувшись, впиался в небо и потухал. Равномерно, мягко содрогая воздух, по обыкновению гудела артиллерия, только близкие разрывы немецких «чемоданов» на минуту заглушали протяжный гул, как бы ставя точки.

Возвращаясь с очередной проверки окопных наблюдателей, Маркусов из окошка с тыловой стороны полузводной землянки увидел слабо мерцающий свет. Подойдя к окошку, он услышал обрывки разговоров на калмыцком языке.

Присев на корточки и заглянув внутрь, он увидел урядника Будяшова, который сидя посредине землянки на обрубке дерева, в своей новой сорочке, держа в одной руке кусок сала, громко и весело рассказывал товарищам о своей свадьбе и о том, какая у него Отха красавица и умница. На три четверти опорожненная

бутылка ходила по рукам нескольких человек, старых сослуживцев Будяшова.

— Хорошо, все-таки, что я не женат еще, — подумал Маркусов, отходя от окошка. Ему было жаль Будяшова, стыдно перед ним и, в тоже время, подымалась у него в душе несправедливая ревность к нему.

Вернувшись к себе, прикрутив ночник, ослабив боевые ремни и пояс, вынув из кобуры наган, он прилег на свою жесткую постель из досок и скоро задремал.

... Далеко, по просторному толоку родного Богла, по зеленой и ровной равнине, беспорядочно разбрелись пестрые хуторские стада коров. Из другого конца толока, с разноголосым мычанием, бегут к стадам сотни телят, стремясь к материнским сосцам.

На своей куцой рыжей двухлетке охлюпкой*) мчит-ся им наперерез Маркусов босоногим мальчиком. Прохладный ветер ласкает лицо и лохматит его непокорную черную голову. Пятки ног часто барабанят по ребристым бокам мчащейся рыжачки...

Вдруг с ясного неба забрызгал дождь, сверкнула ослепительная молния и грянул сотрясающий гром... Маркусов внезапно проснулся и, широко, бессмысленно вытаращив сонные глаза, сел на кровати. В землянке — тишина; прикрученная коптилка едва мерцает; два сожителя спят.

В эту минуту дверь распахнулась, ворвался казак и, срываясь, доложил:

— Ваш благородь, «чемодан» попал в землянку второго полужвода и усех перебил!..

Маркусов понял, какой гром его разбудил, и, на ходу поправляя амуницию, поспешил за казакom. Случай был страшный, но не новый. Гигантский тяжелый снаряд угодил прямо в землянку, пробил толстую насыпь и, разорвавшись внутри, разнес все в пух и прах. Никого нельзя было угадать. Только по манжету новой полосатой рубашки опознал он на утро руку Будяшова, а тела не нашли в общем месиве из крови, мяса и земли.

*) Верхom на коне без седла.

Нерадостную весть пришлось писать Маркусову в станицу. Его письмо должно было превратить новый десяток женщин во вдов, детей в сирот, десятки родительских сердец облить кровью.

Нехорошее это было предзнаменование и для него самого: только что получил офицерский чин, стал законно командовать своим любимым взводом, с которым он сумел не раз отличиться, и такая беда...

Но дальше всё пошло обычным порядком. Взвод был опять пополнен. Впечатление на фронте держатся недолго, сама человеческая память как бы спешно разгружается от слишком богатых и тяжелых нагромождений.

Прошло два месяца после смерти Будяшова, и Маркусов написал родителям, чтобы они сосватали ему Отху и, если она согласится, то взять ее к себе в дом.

Отха покорно согласилась. Тихо и без шума привела ее мать Маркусова к себе в дом, созвала близких родственников и объявила, что женила сына.

В первую ночь, когда Отха легла в постель, набросила на нее свекровь старую поддевку своего сына. Этим и в отсутствие жениха брак был узаконен.

ГЛАВА 4

Скучно и тихо прошел праздник «Цаган» 1917 года, когда вместо моря водки была только противная самогонка да и то в малом количестве. Не лилась целыми сутками песня, не носились по улицам скакуны, снежною пылью не брызгали тройки, между дворами не сновали разряженные и веселые толпы.

Проводив этот памятный по скучности и скудости «Цаган», как только наметились признаки приближающейся весны, боглаевцы начали готовиться к полевым работам.

Но в первых числах марта проникли сюда странные новости: появилось и укрепилось новое слово — «ирволюца». Говорили, что царь «слез» с трона, а Россией правит собрание «аблакатов». Боглаевцам представлялось, что «аблакаты» уговорили царскую семью и, во главе шайки студентов с бомбами, ворвались в комнату царя, арестовали его, заперли в тюрьму, выпустив оттуда всех преступников, которые сожгли все старые законы. Казалось, что адвокаты теперь сидят и новые законы вырабатывают, мужикам все земли отдают и царскую казну по карманам суют, по дворцу бродят и царские вещи под полою домой уносят.

В первые дни боглаевцы не особенно верили этим слухам. Говорили: «в Пятом году тоже студенты бунтовали, пока их обратно на школьные скамьи не посадили, и теперь, наверно, так будет, только придется начать с «аблакатов».

В революцию боглаевцы поверили только тогда, когда станичный атаман, собрав десятидворных, прочитал официальную бумагу из окружного правления и словесно подтвердил, что царя на самом деле на престоле нет, все старые служащие будут заменены, как и старые законы новыми.

Так как на подробные распросы десятидворных и сам атаман толком ничего не мог сказать, то старики разошлись, обескураженные и в угрюмом настроении. И пошел с того дня расти и шириться по хутору шо-

поток о наступающих тяжелых временах, еще давно предсказанных в писаниях буддийских мудрецов, лам-отшельников.

Атаман, прослуживший на своем посту двенадцать лет и помнивший события 1905 года, понял серьезность положения и, боясь сделать ошибочные шаги, приказал в тот же день подать станичную тройку без бубенцев и покатыл в окружной центр за подробностями и инструкциями.

Пурве Цагаков не раз слышал от сына о том, как хорошо было бы в России после революции, а потому со станичного сбора вернулся в Богла в молчаливо-радостном настроении.

— Бадня!.. Ну, правда, что обвалился старый закон и царь с трона слез. Теперь ты мне растолкуй, что теперь будет? — обратился он к сыну, входя к себе в дом.

Бадня знал, что такое революция; за последние два года он успел прочитать много тайных брошюр и считал себя, как и все молодые интеллигентные люди тех годов, революционером. Поэтому он на другой же день выехал в Новочеркасск, чтобы в центре Донской области узнать все новости.

Тихий и смирный вернулся атаман из окружной станицы. На другой же день, сославшись на нездоровье, сдал дела своему помощнику и перестал ходить в правление.

Недели через две вернулся и Бадня с мешком, полным газет, телеграм и брошюр, и с полномочием из войсковой канцелярии разъезжать по калмыцким станицам и хуторам и разъяснять сородичам смысл происшедших в стране событий. Станичным властям предписывалось незамедлительно, вне очереди, подавать Бадне Цагакову подводу. Последнее больше всего понравилось хвастливому Пурве.

На другой день Бадня пошел к хуторскому атаману и, предъявив свои бумаги с печатями и подписями из самой войсковой канцелярии, потребовал созвать всех граждан хутора. Два конных сидельца поскакали

вверх и вниз по Богла, сзывая народ в хуторское правление. При этом сидельцы от себя добавляли: «Идите слушать новые законы!»

Послушать новые законы и узнать, как царя с трона «садили», пришло столько народу, что двор хуторского правления едва вместил собравшихся. Пришли и стали за задними рядами даже некоторые наиболее нетерпеливые женщины.

Не заставляя долго ждать, Бадня вышел из правления на крыльцо. Толпа вплотную придвинулась. Наступила тишина.

— Товарищи! — воскликнул Бадня и, как бы испугавшись собственного голоса и такой новой формы своего обращения к людям, среди которых были и старшие его отца, запнулся и побледнел.

— Ты говори нам, сынок, по-калмыцки. Русских тут нет, а мы, старики, по-русски плохо понимаем, или же призови переводчика, если ты забыл свой язык, — сказал один старик, обращаясь к Бадне.

Медленно, обрываясь и подыскивая калмыцкие слова для замены некоторых русских слов, а иногда пуская в ход и русские фразы, начал Бадня говорить.

Начал он с того, как Государственная Дума хотела назначить новых министров из членов Думы, а царь не слушался и назначал сам, под влиянием своей жены-немки, родственницы Вильгельма, преимущественно немцев, которые работали на руку врагам. Народ молчал. Там и здесь слышались глубокие вздохи. Дальше он говорил о том, как царская власть ссылала лучших людей в Сибирь, душила все народы, и о том, как хороша будет жизнь без царя.

Не узнав ничего особенного и в Новочеркасске, прочтя наскоро бесцеремонно написанные, полные клеветы и лжи, разные брошюры, Бадня невольно нес всякую чепуху.

Долго, молча, с напряженным вниманием слушал сбор необычайные слова и необыкновенные новости. Наконец, исчерпав весь запас информации, Бадня

умолк. и театрально поклонился публике, как он это видел на одном митинге в Ростове, по пути из Новочеркасска.

Он думал услышать гром аплодисментов, крики ура, увидеть растроганные, возбужденные, радостные лица, но калмыцкий сбор был нем. Народ словно был пришиблен всем тем, что ему сообщил Бадня.

Здесь было совсем не то, что пришлось увидеть и услышать Бадне в двух-трех казачьих хуторах, в которых он, по пути, выступал с разъяснениями о революции, о земле и воле.

— Больше я не имею что вам рассказать. Может, кто желает задать какие-либо вопросы, может, кто не понял что? — спросил Бадня.

— Ты, сынок, скажи мне, — обратился к нему ближайший старик, — царя с трона ссадили?

— Да, ссадили.

— Кто же теперь на трон сядет? Его брат или сын?

— Царя теперь совсем не будет, а будет президент, которого свободно, по своему желанию, изберет весь народ, — отвечал Бадня.

— Как же это, вся Россия съедется в одно место избирать этого, как говоришь, през... приз? — не выговорил старик, махнув рукою.

— Съезжаться все не будут, а пошлют с мест бумаги с голосами, — отвечал Бадня, не представляя и сам порядка выбора президента.

— А если люди на местах не знают того, кого нужно выбирать? — продолжал тот же старик.

— Это ничего, каждая станица выберет своего.

— Тогда же их наберется тысячи!

— Так и надо, они съедутся и выберут, в свою очередь, самого лучшего, — обрадованно отвечал Бадня, чувствуя, что в президенстком вопросе начинает давать понятный ответ.

— Ой, чудно это! Сколько канители, сколько драки будет! Ведь, каждый теперь на трон полезет! — проговорил старик, качая головой.

— Так, отцы и братья, рады вы новому положению, новой свободной жизни, новым законам? — спросил Бадня, обращаясь ко всему сбору.

— Много радоваться, сынок, нам нечему, — ответил ему старый Бадьма. — Кто не крал и не убивал, тот всегда был свободен. А всем народам настоящую свободу Россия все равно не даст. При царе было нам спокойнее, перед ним все народы были равны, его боялись русские чиновники... А теперь один сядет здесь, другой его товарищ сядет на трон и начнут вдвоем заедать нас, и защитить будет некому. Земли у нас было достаточно. Теперь, как ты говоришь, если по новым законам всех уравнивать, так и ковриновские, гарбузовские, гончуковские мужики одинаковые с нами паи начнут получать и за нашу землю обществу ничего не будут платить. А там на наши земли наплывет еще разный сброд, которого на свете, как голодной саранчи. И нам нельзя будет уж дыхнуть. Так что же ты, Бадня, находишь радостного в том, что старый закон обвалился? — задал в свою очередь вопрос Бадьма. Бадня не нашел, что сказать и смущенно покраснел. А Бадьма продолжал:

— Ничего было, если все получают земли там, где родился и приписан, каждый на своей родной земле. Тогда бы мужики вернулись в Россию, каждый в свою губернию, и там получили себе землю. Тогда это было бы хорошо, мы освободились бы от хомута, но так не будет!

— Так едва ли будет, потому что теперь свобода, и каждый гражданин может жить там, где он пожелает и где найдет работу. Земля теперь общая и народная, — отвечал Бадня.

— Вот видишь, — припирали Бадню к стенке старый зубец Бадьма, — поэтому нам и радоваться нечего. Неизвестно, чем твой «ирволюц» кончится, как он обернется. Начинается все, как в святых писаниях лам сказано, оно, может, еще кровь по колено потечет. А нашу хорошую землю голодная саранча непременно налетит с севера, и нам плакать много придется. А что,

думаешь, будут делать донские и кубанские казаки, когда мужики начнут населять их землю? Оно хоть царь и теснил наши калмыцкие законы, религию и язык, но жили мы спокойно и сытно... Дети учатся в школах, скота много, сады зеленеют, хлеба на полях, словно, море, волнуются... При новых законах мы потеряем много... Лучше бы было, если этих аблакатов в холодную кутузку посадить, а царя спасти из рук бунтовщиков! — горестно закончил старик Бадьма. Слова почтенного и богомольного старика произвели на сбор большое впечатление.

— Я — йир, джили эне шине йостаган! — Убирайся ты с своими новыми законами к чорту! — раздались вдруг возбужденные крики из задних рядов. — Нам при старых законах было неплохо! Езжай к мужикам и им рассказывай твои басни, они будут рады!.. Ты и сам, может, мужичью веру принял, проданся, наверно!.. Во-о-о-н, вон отсюда! — грозно зашумела и загалдела толпа. Задние давили на передних, вплотную прижимая к крыльцу.

Бадня побледнел, как полотно, и растерялся. Если бы не родственники его, которые, учуяв опасность положения, окружили Бадню плотным кольцом, то было бы плохо. После продолжительного и беспорядочного шума и галдения, сбор начал расходиться.

Бадня был ошеломлен и подавлен таким неожиданным и бурным проявлением отрицательного отношения к революции его собратьев. Хоть старик Бадьма и ясно изложил ему мотивы своего неприятия новых порядков, Бадня все же начал мучиться и искать в революции то, что могло стать радостным для калмыков и чем можно было бы привлечь сердца собратьев.

Подавленный и настороженный Бадня поехал на другой день по соседним калмыцким станицам и хуторам. Но нигде калмыки его разъяснениям и его толкованиям о революции не были рады. Станицы и хутора встречали его как чужака, словно сговорившись. Правда, таких бурных сцен как в Богла не было, но ясно

было, что калмыцкая народная масса совсем иначе воспринимает события, чем интеллигенция.

Впервые Бадне пришлось столкнуться с глубоким духовным разрывом и расхождением между народом и интеллигенцией. Для него было ясно, что это явление — нездоровое. Подделаться под настроение этой массы и пойти по пути служения ее желаниям, он не считал возможным, так как был в душе убежден, что народная масса не разбирается в обстановке, что интеллигенция обязана руководить духовной жизнью народа.

Прибыв в станицу Зюнгарскую, после сделанного сбора сообщения о революции, Бадня пошел из станичного правления в дом своей невесты. Родители Зиндми, увидев нежданного вошедшего к ним зятя, сильно смутились. Но делать было нечего. Жених не мог так запросто зайти в дом невесты, но раз уже вошел, нельзя было его встретить негостеприимно. «Значит, так делает теперешняя ученая молодежь», — решили они. Этот их вывод как бы подтвердила и их дочь. Вместо того, чтобы вихрем вылететь из дому, скрыться и на все время пребывания жениха в их доме на глаза ему не попадаться, как того требовала от невесты традиция, Зандмя спокойно и приветливо встретила Бадню и хозяйственно захлопотала об угощении.

Время было к вечеру. Поставили самовар. Братишка ее, Санжа, погнался за кудрицей, чтобы мать зажарила ее для зятя, а младшая сестра, Ялма, принесла из сарая в джатаке десяток свежих яиц, чтобы к чаю подать яичницу.

Видя такой оборот дела, старикам ничего не оставалось, как преодолеть свое смущение, скрыть в душе осуждение за нарушение обычая и принять зятя, как дорогого гостя.

За самоваром, когда Дамба и его жена с затаенной радостью и умилением любовались зятем и дочерью, Бадня завел с Зиндмой разговор:

— Вот я побывал уже в трех хуторах и двух станицах с докладами о совершившейся революции. К моему

удивлению и опасению, наш народ ее воспринимает отрицательно. Недоумеваю. Мне казалось, калмыцкому народу при старой власти было плохо. Вся Россия стихийно и радостно приняла революцию, а контрреволюционные элементы, каковые неизбежно должны быть при всякой революции, опасаясь, найдут себе опору в нашем маленьком народе и погубят его. Вот я и думаю: как заставить наш народ изменить свое отношение к революции? Что для нашего народа можно было бы извлечь из революции хорошего?

— Что же ты в одиночку бьешься! По-моему, это дело нужно бы проводить общими силами. Тебе надо было сперва объездить наших товарищей, всех интеллигентных парней и девушек, посоветоваться со всеми, выработать план, а потом уже компанией ехать по станциям. Полезно было бы в каждой станице давать маленькие спектакли, устраивать вечера пения, танцев, декламации и вольной беседы. Тут бы завязывались знакомства с местной молодежью, узнавались народные думы, люди заражались бы новыми мыслями. А то ты обрадовался, что получил бумагу из войсковой канцелярии и право пользоваться почтовой подводой, и скачешь, как царский заседатель! Так ничего хорошего не добьешься, — обворожительно улыбаясь и грея Бадню мягким пламенем ласковых карих глаз, скромно заметила Зиндя.

Хоть и чудно было Дамба видеть и слышать, как девушка-невеста при родителях вступает в разговор с женихом, но пересилил себя он и решил поддержать разговор:

— Еще одну ошибку делаешь, сынок: ты сразу приезжаешь в станичное правление и требуешь схода, как делали раньше разные русские начальники, чтобы огласить какой-либо указ. Одно это уже шкребет людей. А потом на станичную сходку идут старики, вообще пожилые. А старые люди, как бы ты красиво ни говорил, подозрительно смотрят на новизну. Революция началась с арестов и пожаров. Я так думаю своим простым умом: тебе нужно приезжать не в правление

станци, а в частные дома и дня два покрутиться среди молодых мужчин, говорить с ними, искать среди них сторонников и звать их на сбор, чтобы тебя поддерживали. А то ты наскакиваешь, наспех собираешь стариков, выходишь на крыльцо и начинаешь жарить полукалмыцким, полурусским языком о том, какой нехороший был царь, как хорошо, что его свалили. Я тебя сегодня внимательно слушал, как отец, и понял, что народ тобой довольным остаться не может. Мне тоже хотелось не раз оборвать тебя. Зиндя, хоть и девушка, она правильно говорит, что зря один скачешь. «Одно дерево не лес, а один солдат не армия». «А дружные сороки и лебедя бьют». Лучше будет, если возьметесь за дело компанией. Я вашей революции не рад. Старое и налаженное погубили, а что хорошего даст революция, то неведомо. Но раз вы, мои дети, так ею захвачены, так хочу, чтобы вы имели успех. В конце-концов, если говорить правду, то жить вам осталось, а не нам, старикам.

Дамба слыл в своей станице за говоруна. Придвинувшись лицом к слушателю, смотря ему в глаза, он умел ровным, спокойным голосом убедительно говорить, четко и последовательно развертывая свою мысль.

Чуть приоткрыв рот, широко раскрыв глаза, улыбаясь всем лицом, с явным восхищением слушал Бадня невесту и тестя. Он не ожидал, что его невеста, обычно молчаливая и скромная девушка, может сделать ему такое верное и дельное замечание. Еще более было неожиданным, что его тесть, простой калмык, когда-то вместе с его отцом табунщиковавший в Борукчуне, так метко указал на слабые места его выступлений.

— Превосходно!.. Правильно!.. И Зиндя говорит правду и вы, отец, правильно указали на мои ошибки. Отныне так и буду поступать. Вот тут у нас два молодых солдата, а там, как снежный ком, начнет расти наша мслодая армия, и двинем мы наш народ по пути культуры и цивилизации! В старину тормозили прогресс ханы и нойоны. Потом тяжелым прессом придавил развитие народа царь чужой, подрезал он нам

крылья, язык наш он связал в корне!.. А теперь их нет, и перед народом нашим широка и светла дорога! — с пафосом загремел Бадня, встав из-за стола и шагая по комнате. Он был в эту минуту очень мил. С нежной любовью смотрела на него Зиндмья, и душа таяла под теплыми волнами любви. Бадня свободно переходил с предмета на предмет, вспоминал всякие забавные случаи из своих поездок и смешил тестя и тещу. И Дамбе и Юлге зять понравился и они прощали ему все. Бадня учился в чужой школе и получил иное воспитание. Но видят старики, что зять их — парень с доброй душой, что Зиндмья его любит всем сердцем, и радуются сердца родительские счастьем молодой и прекрасной пары. «Время не стоит на месте. Все меняется. Счастливое время настает. Сколько раз мне хотелось увидеть жениха до кройки подарков, да так и не смела. Душе хотелось поговорить с женихом, когда он отнимал у меня кольцо — опять не смела. А вот дочь моя уже сидит, счастливая, с женихом, чай попивает и разговаривает! Плохо ли это? Чем плохо? Привезли меня тогда в чужой хотон, обрядили и заперли в темной кибитке и впустили ко мне почти незнакомого мужчину... А у них, ведь, иначе будет. Они встретятся с радостью, знающие и любящие друг друга». Так сидела и думала про себя Юлга, любуясь дочерью и зятем. А больше всех понравился Бадня детям Дамбы, — Ялме и Санже, которые весело хохотали при шутках Бадни и не хотели ни на шаг отходить от зятя-брата.

К вечеру того же дня, согласно списку и маршруту, составленному совместно с Зиндмой, Бадня поехал в станицу Кевюдов, к барышне Цецене, которая этой весной окончила гимназию и с осени собиралась идти в высшее учебное заведение.

Станица Кевюдов была через речку Куберле напротив станицы Зюнгаром. Вероятно потому, что калмыки не любят близких расстояний, мост через речку был не против станицы, а выше по течению верст на пять. Таким образом, путь от Зюнгаров до Кевюдов был удлиннен с одной версты до десяти.

Маленький босоногий Сандже, сев охлюпкой на куцого двухлетка, до моста провожал Бадню и получил разрешение переписываться с ним. Радостный и счастливый ехал Бадня. Любимая красавица-невеста, толковый тесть, тихая и разумная теща, их милые дети — наполнили его сердце большим счастьем.

Хоть и не полагается калмыку петь в сумерках, «когда и нечистые силы по полю рыщут и волки голодные выходят на дорогу», но Бадня ехал шагом и громко распевал свою любимую песню:

«Ногаг деегюр ёвулите, Бомбрджан,
Нохадан бича хуцулите, Бомбрджан!»

ГЛАВА 5

Цеценя была сирота. Жила она вдвоем с матерью, которая унаследовала от покойного мужа хорошее хозяйство: три сотни овец, полный баз коров, две пары добрых коней, большой и благоустроенный двор с деревянным домом, амбаром, сараем, конюшней и садиком.

Так как Цеценя была единственной дочерью, то вдова думала вырастить дочь и принять зятя. Но не идут у калмыков в зятя хорошие мужчины. Только бездомный бедняк и сирота решается на это, да и то, если хороша невеста и добротное хозяйство. А Цеценя, как назло, была дурна собою. Росту она была малюсенького. Лицом была скуласта. Над маленьким и приплюснутым носиком, светились узкие косые глазенки. Бог обидел ее. Но не дав ей красоты и роста, дал Он ей память острую, ум живой и ясный, любознательность и твердый характер. Как только Цеценя начала ходить в станичную школу, она удивила всех способностями.

Поняла мать, чем Бог наградил ее дочь, в чем ее сила, и решила учить ее «аж до конца». С годами способности Цецени развились еще больше. Из класса в класс переходя неизменно с первой наградой, она шутя кончила в Чепраках женское четырехклассное и, отказавшись от доли народной учительницы, перешла в Нижне-Чирскую гимназию и окончила ее с золотой медалью.

Не довольствуясь классными предметами и учебниками, Цеценя много читала, особенно по политическим вопросам. Вдобавок к способностям, у нее виявился еще один ценный дар: она умела спокойно, связно и красиво говорить, покоряя слушателей и ясной мыслью, и красотой предложений, и мягкой певучестью голоса. Слушая ее, человеку хотелось откинуться на спинку стула, зажмурить глаза и покорно кивать головой.

Цецене было девятнадцать лет в том году, а уже была она среди калмыцкой учащейся молодежи самым серьезным, умным и развитым человеком. Не только

никто из девиц, но даже молодые студенты и гимназисты не могли с нею тягаться по развитию, по широте кругозора.

Бадня и Цеценья были самыми передовыми представителями нарастающей калмыцкой интеллигенции. По характеру Цеценья была противоположностью Бадне. Насколько Бадня был горяч, порывист, страстен и смел, настолько Цеценья была осторожна, рассудительна и спокойна. Принимаясь за что-либо, Бадня прежде всего видел в перспективе только блестящий успех, яркий результат, совсем не думая о трудностях, а Цеценья, наоборот, любила тщательно анализировать и, главным образом, старалась предвидеть в деле трудные моменты и подготовиться к ним.

Поэтому, когда Бадня и Цеценья встречались, время проходило в спорах между ними. Так как оба были мастера говорить, — Бадня с жаром и жестикуляцией, а Цеценья мягко, ровно и цепко, — то товарищи любили их срашивать и с удовольствием слушать.

Когда Бадня въехал в их двор и, отдав коня работнику, вошел в дом, Цеценья с матерью пили вечерний чай. Хозяйки радостными возгласами встретили гостя.

— Привет курьеру революции! — улыбаясь проговорила Цеценья, протягивая Бадне маленькую, смуглую горячую руку и приглашая его присаживаться к чаю. В доме у Цецени Бадня был впервые, а потому мать спросила у дочери:

— Это и есть зять Дамбы зюнгарского?..

— Да-да, мамаша, это он и есть! — воскликнул Бадня, садясь к столу и приступая к сытному и горячему калмыцкому чаю с пухлыми и мягкими борщиками.

Когда чаепитие было окончено и мать стала убирать посуду, Цеценья позвала Бадню в залу.

«Ноган деегюр ёвулите, Бомбрджан,
Нохаган бича хуцулите, Бомбрджан!» —

начал было Бадня, входя но Цеценья прервала его:

— Ты оставь свою Бомбрджан, а скажи лучше: как поживает моя подруга Зиндя? Как с нею время

провели? Она не убежала из дому, когда ты нагрянул к ним?

— Ну, что ты, Цеце?! Я бы это категорически осудил! Пора же нам отвыкать от диких обычаев! Зиндмя при родителях сидела со мной за одним столом и восхитительно себя держала! «Я очарован, я огончарован!» — запел Бадня.

— Так за это меня благодари! Она недавно была у меня, и я очень долго доказывала ей, что глупо и дико невесте убегать из дому, когда приезжает жених. А то она хотела, знаешь ли, соблюсти обычаи бабушек и улизнуть из дому, если ты вздумаешь приехать к ним. Значит, послушалась... Ну, а как твое турне? Слышала, клянут тебя. О чем ты говоришь на этих собраниях, если не боишься выдать свои демосфеновы тайны?

— Да, о чем? Рассказываю о том, какие безобразные порядки были при царе, как хорошо, что произошла революция, и как хорошо теперь без царского гнета, как свободная армия будет одерживать победу за победой на фронте.

— Так я и думала. Желаешь меня выслушать?

— За сим и пожаловал, потому что моя чудесная невеста сказала, что не должен один скакать, словно «царский пристав», а должен объехать товарищей, посоветоваться, и общими силами двигать дело.

— Совет умный. Значит, Зиндмя сильно тебя любит, если дошла до советов жениху, а то она, обычно, предпочитает молча сверкать красотой. Так вот слушай меня, Бадня-Демосфен наш молодой: Ты, я вижу, по обыкновению, закусил удила и пошел рвать. А так нельзя. Нужно было принять во внимание психологию народной массы, для которой слово «студент» означает бунтовщика, который кидает в людей бомбы, а слово «революция» означает безобразия этих бомбометальщиков. Поэтому, в первых же твоих словах, тебе нужно уверить аудиторию в том, что не ты эту революцию устроил, а русская интеллигенция, Государственная Дума, что вся Россия радостно приняла ее, вплоть до

генералов и казаков. При этом не нужно тебе выражать особенный восторг и не вымогать, главное, этот восторг у твоих слушателей. Не веди себя как казенный наемный пропагандист революции, а веди себя как калмык, объективно информирующий своих собратьев о событиях. Это спасет тебя от предвзятых подозрений и недовольств. Оно же покажет народу, что, собственно, его отношением, его мнением, его желанием или нежеланием революции никто не интересуется, а что ему просто рассказываются интересные новости. Дальше, если тебе хочется повернуть симпатии народа к революции, то ясно и коротко укажи, чего именно нам не доставало при старой власти и как это было вредно. Наконец, простым и понятным языком скажи, что хорошего несет народу нашему революция, и укажи, как этого хорошего достичь. Беспристрастная информация, ясный анализ и точная цель — вот три кита, на коих ты должен опираться. Если так будешь вести себя, то отношение к тебе быстро переменится. Запомни, политический трибун прежде всего должен не забывать, кто его слушает. Жаль, что я — девушка. Ведь старики не захотят меня выслушивать, а то бы я поехала с тобою по станицам.

— Зиндя и ее отец советуют...

— Они совершенно правильно советуют. И поезжай ты отсюда дальше и побывай у всех. Нам нужно стовориться и организовать. Революция не каждые сто лет случается, и надо ее использовать с максимальной полнотой.

— Правильно, Цеце! Ты у нас прямо — Бисмарк... в бешмете! Хотел сказать «в юбке» да увидел, что ты в бешмете. А зачем ты натянула бешмет? Ведь беленькая блузочка с галстучком и юбочка куда лучше!

— Это — уступка маме. Когда я в блузке и юбке, она целые дни нервничает. А потом, чем бешмет хуже юбки? В бешмете свободнее себя чувствуешь, и девушка элегантнее выглядит. Ну, как ты — согласен со мною в методе пропаганды революции?

— Совершенно согласен. Ты сплела такую яркую канву, что мне остается только вышивать по ней узоры. Но давайте работать сообща все. Перед нашим обездоленным народом революция открывает блестящие перспективы, и на интеллигенции лежит долг довести народ до полезного использования исторического момента. Я вижу, что и интеллигентные девушки могут быть полезны. Так не отвергай, Цеце, мое предложение союза и дружбы для работы на национальном поприще! — торжественно проговорил Бадня, протягивая Цецене руку.

— Ну, ну, ты, наш горячий степной Буцефал, не очень бурли. Помни, что путь наш усеян камнями, не спеши устилать его розами. Неужели ты думаешь, что революция несет нам только одни радости и... «свободная армия будет одерживать победу за победой?». Тогда ничегосеньки ты о революциях не ведаешь, как истинно счастливый жених! Но я с тобою иду. Работать национальная интеллигенция обязана при всяких обстоятельствах. Прежде всего, нужно установить, чего нам не хватает как народу, и как этот недостаток восполнить. Без установления этих двух моментов нельзя и браться за дело. Какие у тебя есть мысли на этот счет? Я хочу сверить мои мысли с твоими. Мы с тобою так часто разно мыслим, хотя одинаково любим наш народ и готовы послужить ему.

— Коренное зло в жизни нашего народа, это — разрозненность на три отдельные части, на донцов, на ставропольцев и астраханцев. Это искусственное разъединение нашего народа мерами русского правительства уже дало свои горькие плоды: части одного и того же народа начинают чувствовать себя отдельными народами. Для нашего и без того маленького народа это — реальная опасность. Поэтому наш первый же шаг должен быть в сторону административного и духовного объединения народа. Наши донцы довольны своею жизнью с казачеством и гордятся своею казачеством, а дербеты немножко завидуют нам. Поэтому, объединение можно будет провести путем присоединения всех кал-

мыков к казачеству. Кстати, в таком случае и казаки помогут. Вот это и есть основной стержень моих дум.

— Удивительное совпадение мыслей, Бадня. Вот когда наши души, что называется, запели в унисон! Я так рада этому. Дальше, Бадня!

— Дальше, главное, чего нам не достает — языковая и вообще культурная свобода. Нам нужна культурная, административная и хозяйственная автономия, т.е. нам нужны низшая и средняя школы с преподаванием на родном языке, нам необходимо право на употребление родного языка во внутреннем деловодстве, нам нужна своя местная, выборная власть, администрация. Вот это — вторая тема, о которой нам необходимо говорить.

— Верно. Всеми ладонями с тобой согласна. Долой, Бадня, русских жандармов и русских учителей! — с неприсущей ей горячностью воскликнула Цеценя, сверкая узенькими глазенками.

— До-ло-о-ой!!! — заорал Бадня и, ударив кулаком по столу, взволнованно забежал по комнате.

— Теперь сядь, Бадня, успокойся. С большим удовольствием я констатирую полное тождество наших устремлений. Да будет отныне между нами крепкий союз.

— Ами-и-нь! — воскликнул Бадня, радостно пожимая руки Цецене.

Молодые собеседники весело расхохотались. Незаметно бежали часы в оживленной и занимательной беседе.

— Тебя, я вижу, нужно подталкивать. У тебя таятся драгоценные мысли, но они готовы лежать без движения, потому что ты слишком горячо и весь отдаешься первой пробудившейся частице какой-либо цельной мысли. Сейчас мы с тобой установили стоящие перед нами задачи. А с чего начать практическую работу, ты об этом не говоришь, а это главное, ибо идеи без формы, что сосуд без содержания. Что мы первым делом должны делать?

— Ну об этом мы посоветуемся с другими товарищами, не все же мы с тобою должны решать, дай же и остальным внести свою долю в общее дело, могут быть разные мнения, большинство может с нами и не согласаться.

— Нет, Бадня, тут я с тобою не согласна. Так идеологическая работа не протекает. Чему вы учились, господа? Если ты так думаешь об общественной работе, то чего требовать от остальных? Именно в маленькой, сговорившейся группе должна быть намечена цель, разработан метод достижения, а потом уже вокруг этой группы должна быть собрана и организована сила. Что же, если завтра соберется нас десять человек и восемь из них начнут предлагать иное, найдут нашу задачу нерешимой или недостижимой, то ты оставишь свои мысли и пойдешь за этой восьмеркой? Хорош будешь революционер! Запомни, Бадня: большое собрание людей никогда к единомыслию не придет само по себе, если на этом собрании не будет организованной группы, которая незаметно должна толкать собрание к определенному решению. Отара овец разве пойдет в нужном направлении, если чабан и козел не будут давать его?

— Ого! У тебя, однако, взгляд на массу... Кто это так рассуждал?

— Не трудись: все политические руководители так думают и так поступают. Мы не будем составлять исключения, опыты политической истории должны быть использованы и нами, — спокойно чеканила Цеценя, все больше покаяясь и подчиняясь себе волю Бадни.

— Признаться, голова идет кругом от грандиозности задач. У тебя мысли стройнее, твоя голова сильнее, скажи ты: с чего нам начинать?

— Compliments побереги для невесты, а делать нужно вот что: Нужно организовать группу из нашей интеллигентной молодежи. Выработать нашу краткую, ясную и отчетливую программу о необходимости объединения всего калмыцкого народа в одну административно-политическую единицу. Изложить в ней и те основные наши задачи, которые ты наметил. И пое-

дем все в гости к дербетам, в Астрахань, в Башанту. Заранее туда сообщим, чтобы и тамошняя интеллигенция приготовилась. Съедемся, познакомимся, обменяемся мыслями и попытаемся создать одну солидную общекалмыцкую партию, с определенной целью и определенными методами. Как думаешь ты?

— О! Согрешил Бог, послав тебя на землю в образе девицы! Идея — божественная! Всеми перстами подписываюсь! — воскликнул в восторге Бадня.

— Так... Как хорошо, что приехал ко мне. Я так томила с моими мыслями, а поделиться было не с кем. У нас двое гимназистов, но они еще в мяч играют. Звала твою Зиндму, но в таких вопросах она скромна, — с грустью заметила Цеценя, как бы разговаривая сама с собою.

Последнее слово неприятно кольнуло Бадню, но Цеценя, словно заметив это добавила:

— Ты не обижайся за навесту, если я, как друг, говорю о ней правду! Зиндмья прекрасная девица и чудный человек, но она не развита.

— Конечно, кругозор у нее узкий, ведь, всего четырехклассную прошла, а потом, мне кажется, что все красивые женщины равнодушны к серьезным вопросам. Возьми, например, Наталью Пушкину...

Бадня не закончил фразы и растерялся. Он увидел, как побледнело лицо у девушки и сузились и без того узкие глаза.

— Да, — печально проговорила Цеценя, — быть серьезными это — привилегия уродливых девушек, вроде...

— Цеце!... клянусь всем, что не это я хотел сказать, и почему ты думаешь, что ты некрасива? Какая еще может быть красивая калмычка, ты очень типична. Что за привычка у тебя соваться в уроды? Ей Богу, я не хотел на такой путь повернуть мою мысль... Прости, ради нашей дружбы и нашей общей идеи, я тебя так уважаю, так почитаю, — горячо заговорил Бадня, беря Цеценю за руку.

— Ну, не будем ссориться. Я не сержусь. Я хотела показать тебе, до какой степени ты не сдержан на язык и не осторожен. Скажи лучше, на какой факультет записываешься? Надеюсь, к этому вопросу подходишь с точки зрения народной потребности, а не с соображениями личной пользы?

— Конечно, только с точки зрения общей пользы. Я иду на медицинский. Вопиющая нужда нашего народа, это — доктора с европейским образованием. Пора перестать лечиться у знахарей и гелюнов наговоренной водой от всех болезней. Здоровье народа, как и здоровье отдельного человека, единственный залог жизненности его. Я хочу быть доктором, чтобы больные собратья могли доверчиво обращаться ко мне и на своем языке говорить мне о своих болезнях.

— Правильно.

— Ну, а ты? На педагогический, естественно-исторический, физико-математический? — спросил Бадня.

— Прежде всего — не удивляйся и не спеши восклицать. Я иду в агрономы. Записываюсь на агрономическое отделение Новочеркасского техникума.

— О-о-о!!! Да что ты вздумала?! Это же — верх оригинальности: калмычка, женщина-агроном. Очень ново! Объяснись!

— Изволь. Ты согласен, что в хозяйственной жизни нашего народа с каждым годом земледелие завоевывает больше места, вытесняя скотоводство, и что этот род занятия коренным образом меняет жизнь калмыка?

— Согласен.

— Тогда согласись, что наши калмыки все еще не умеют сеять хлеб и не получают и половины того, что может дать чудная земля?!

— Верно.

— Вот и все. Я хочу, вооружившись знаниями, научить наш народ брать из земли все, что она способна дать, и этим помочь народу больше хозяйственно окрепнуть, разбогатеть. А когда народ будет зажиточен, то его легко вести по пути культуры и цивилизации. Богатый народ лучше может бороться за свои права. Бед-

ность служит главной причиной отсталости многих народов. Худой конь не брыкается, а только упитанный, не так ли? Если человеку нечего есть, так о деревянном доме, о саде, о чистоте и красивой одежде, музыке и литературе он едва ли может думать. Когда наш амбар полон зерном, в хлеву сопят три сотни овец, в базу пыхтят шесть пар быков, то и моя мама догадалась отдать меня в гимназию и не мешает идти в университет.

— Верно, Цеце, верно. Ты у нас как Соломон с косой! Было уже около полуночи. Мертвой тишиной и темнотой была объята станица Кевюдов. В раскрытое окно доносился только тихий шелест листьев тополя, что стройной свечкой рос в палисаднике.

— Мама! — окликнула Цеценя мать, уже спящую в другой комнате. — Мы голодны, нет там чего покушать? Ведь гость только чай пил!

— Иди в столовую! Там холодная ягнятина. Я нарочно вам не дала, чтобы вы проголодались и чтобы жареное остыло: холодным оно вкуснее. А самовар разогрей сама! — приказала мать из своей комнаты.

— Идем, Бадня, в столовую, подкрепимся на сон грядущий. Славная бабуся моя мама, все-то она приготовит и предусмотрит, — говорила Цеценя, ведя Бадню за руку в столовую.

Холодная ягнятина, посыпанная зеленым лучком, была вкусна. Бадня и Цеценя с аппетитом быстро съели всего трехнедельного ягненка.

— Самовара я тебе греть не буду. Зато предложу нечто другое, что я люблю. Если запьешь жареного ягненка крепким кумысом, ничего лучшего не может быть! Будешь спать, как ангел безгрешный, — сказала весело Цеценя и принесла из кухни целый горшок пенистого, крепкого, душистого кумыса.

После сочной ягнятины, холодный и крепкий кумыс, действительно, был чудесен. Четыре стакана выпил Бадня. Поужинав, Цеценя сделала для Бадни постель в зале, и, пожелав спокойной ночи, ушла к матери в спальню.

«Какая милая и умная девушка эта Цеценя. Говоря с нею, даже не замечаешь ее внешней неприглядности и маленького роста. Как она умеет занимать человека и как интересно с нею говорить! Оригинальная девушка, замечательная девушка!» — думал Бадня, засыпая под легким, мягким фланелевым одеялом, которое пахло не то какими-то духами, не то тонким запахом девичьей косы.

Тихо шелестел листьями тополь под окном, да где-то застрекотал сверчок...

ГЛАВА 6

Сальский округ — единственное в мире лошадиное царство. По просторной его равнине — Задонской степи, богатой тучными пастбищами, на расстоянии десятков верств друг от друга, разбросаны сотни экономий-кашаров донских частных коннозаводчиков, на участках которых вольно пасутся тысячные табуны.

Нигде в мире не водится в такой численности, в таком приволье и, в то же время, умело содержащихся, столько прекрасных лошадей, как в Задонских степях Сальского, Калмыцкого округа Донского Казачества.

Коневоды, фанатики-лошадники из русских, казаков и калмыков с любовью, знанием и упорством, зачастую рискуя разориться на покупках дорогих производителей, за сотни лет вывели великолепный тип кавалерийской и легкоповозочной лошади, сильной, легкой и красивой.

Начальным ядром этого лошадиного царства послужили бывшие калмыцкие табуны, пригнанные из глубины Зюнгарики в приволжские степи. Когда прекратилось вольное кочевье калмыков, когда их разбили на станицы с юртовыми границами и прикрепили к земле, табуны эти постепенно перешли в руки казачьей старшины. Но вечно служилая и безшабашная казачья старшина, в свою очередь, стала беднеть и запускать коннозаводство. Задонские табуны стали постепенно переходить в руки хозяйственных русских пришельцев, предприимчивых казаков, которые с коневодством сумели сочетать и овцеводство, и скотоводство, и земледелие.

Ныне, в 1917 году, эти коннозаводства принадлежали, приблизительно на одну четверть калмыкам, сумевшим удержать свои коневодческие хозяйства, наполовину — казакам, а все остальное принадлежало русским и украинцам.

Но кому бы табун ни принадлежал, его разведение, уход и содержание во все времена неизменно находились в руках калмыков. Только в их руках возможен

был и тот размах и тот способ коневодства, какие были здесь.

В Чепраках, центре Сальского округа, происходили ежегодные скачки в течение целого месяца. На эти скачки десятки сальских коннозаводчиков приводят сотню лошадей, питомцев степи, детей лучших производителей не только всероссийского, но часто и мировых ипподромов, для испытания сил и резвости, для отбора и дальнейшего улучшения породы донских лошадей.

Любители конного спорта — калмыки из окрестных станиц и коннозаводства массами съезжаются на эти скачки. В жизни захолустного Чепрака август — самое оживленное время.

**
*

Бадне, Зиндме и Цецене удалось организовать группу из молодой калмыцкой интеллигенции для поездки к дербетам с намеченными ими целями. Когда эта группа впервые съехала на сборный пункт в Чепраках, скачки еще продолжались.

Гвоздем дня, когда группа шумной и веселой компанией пришла на скачки, был заезд на шесть верст на большой приз сезона в 1000 рублей. На этот заезд были записаны три знаменитости местного ипподрома: рослый, могучий, горячий, как бес, рыжий «Садко» братьев Боковых; спокойный, малорослый, но точно из глины вылепленный и степным ветром и солнцем высушенный, крепконогий, известный ровным и неутомимым бегом «Дик» — Супрунова; испещренный аблоками серый красавец, злой и норовистый, но сильный и энергичный «Имп» братьев Лисицких.

Все три жеребца были четырехлетки, призовики, здесь не знавшие до сих пор поражений. В такой комбинации они шли впервые, и заезд вызывал шумный интерес у публики. Мнения знатоков на этот раз делились. Большинство стояло за «Садко», но многие надеялись и на «Дика», сына знаменитого «Дикрана»,

ожидая от него обыкновенного его стремительного финиша. Были и такие, которые стояли и за «Импа», который несомненно вырвет старт и, если не занесется и не закинется, может заставить соперников в первом же кругу дать все силы.

Но в афише стояло и четвертое имя. То была вороная кобылица «Македония» Пурве Цагакова. Ни сама «Македония», ни ее владелец никому не были известны.

Вот ударил первый звонок. В группах, там и сям разбросанных по конюшням владельцев, начали седлать очередных лошадей, жокеи и ездоки побежали к трибуне, к судейским весам — на взвешивание. Через пять минут раздался второй звонок. Ездоки, сев на скакунов, выехали на круг, кто в сопровождении взволнованного тренера, кто самого беспокойного владельца, кто ведомые под уздцы конюшенными мальчиками.

Когда красивый мальчик-кавказец Кантемиров, известный скакун по кличке «князь», в черном сатиновом камзоле с голубыми рукавами, в голубом картузе, выехал на темпераментном «Садко» и, открывая дыхание лошади, проскакал по прямой в обратную сторону, публика шумно аплодировала.

Смуглый, ряболицый, длинноносый хохол Арсений Шевчук, в розовом камзоле, с белыми рукавами, в розовом картузе, шагом выехал на спокойном, аккуратно сложенном, чало-рыжем «Дике» и, взяв с места в легкий посыл, проскакал за «Садко», вызывая восхищение у своих сторонников.

За ним, горячась и танцуя, едва удерживаемый под уздцы двумя конюшенными мальчиками, выходил на круг «Имп». Маленький, темнолицый и узкоглазый Пурвеш, его всегдашний наездник, ласково трепал жеребца по шее и успокаивал. Экстерьерно, безукоризненно сложенный, с развитыми, тугими переливающимися мускулами под тонкой кожей, «Имп» всегда во всех заездах умел вырывать старт и на две-три версты не знал поражений. Сегодня ему впервые предстояла борьба на шесть верств. Знатоки возлагали надежды и на него.

Это начинался четвертый заезд. Августовское солнце было уже на западе, но было еще жарко. Квасники, лимонадники и мороженщики бойко торговали. Переполненная и пестрая трибуна гудела шмелиным ульем и возбужденно гомонила. По обе стороны от трибуны, вдоль круга, чернело море людей, подвод, автомобилей, оседланных коней. Военная и полувоенная одежда калмыков и казаков преобладала в публике. Оркестр играл веселый и бодрящий марш.

Группа калмыцкой молодежи, около десятка человек миловидных и разбитных барышень, гимназистов и студентом, сидела на верхней площадке трибуны и с интересом ждала появления лошади Цагакова. Все наперебой спрашивали Бадню — есть ли шансы хоть на третье место.

Вдруг по трибуне и по ограде ее прокатилась волна всеобщего смеха: на круг выезжал маленький черненький калмычок — Карпо Абушинов, в одноцветном темносинем камзоле, в плохо сшитом синем картузе, на исхудалой, плохо вычищенной, длинохвостой, на один глаз слепой вороной кобылице. Это и была «Македония». Ее Пурве Цагаков давно желал испробовать с русскими скаковыми лошадьми, не взирая на протест Бадни, который стыдился выводить эту кобылицу на круг, перед многочисленной публикой.

«Македония» вяло вышла на круг, с опущенной головой и сонным глазом, подталкиваемая шенкелями смущенного ездока. Она лениво прошагала вдоль трибуны, прямо направляясь к старту. Рядом с нею шагал рослый, плечистый, смуглолицый Пурве Цагаков, в белом чесучовом бешмете и темносинем картузе.

Когда «Македония» проходила перед публикой, со всех сторон неслись возгласы:

— Кунак, из косилки кобылу выпряг?

— Что стоит шкура, кунак?

— Эх, Карпо, Карпо! Накормить бы кобылу надо!

— Ты, кунак, шило возьми! Хлыстом не проймешь!

Видя, как его отец и его лошадь подвергаются насмешкам публики, Бадня не выдержал. Он спустился с трибуны, протискался к отцу и о чем-то возбужденно с ним заговорил. Когда он вернулся обратно к своей группе, которая тоже была смущена неблестящим видом калмыцкой лошади, Зиндя не утерпела и спросила:

— Зачем это твой старик пускает эту кобылу с такими лошадьми?

Бадня, чтобы все кругом слышали, умышленно громко и по-русски отвечал: — Мы, господа, присутствуем сейчас на состязании двух систем выдержки лошадей. Кобыла эта выдержана по старинному калмыцкому способу, для скачки на дальнее расстояние. Кормили ее вдоволь овсом и сеном. Каждое утро купали ее в холодной воде, через день делали резвые пробеги, и не на версту, не на две, а на восемь, на десять. От такой выдержки лошадь постепенно сохнет, уменьшает пищу и в последние дни перед скачкой почти ничего не ест. Тут начинают поить ее не водой, а крепким калмыцким чаем. К этому времени у лошади в мясе и мускулах не остается ни грамма жира; остается он только вокруг внутренних органов — вокруг почек, селезенки, в сальнике. Такая лошадь уже может, не уставая, скакать целый день, на 40-50 верств. Когда нужно было совершать молниеносные набеги, конные полки Чингис-хана так выдерживали лошадей и появлялись неожиданно там, где их никто не ожидал! В последнюю ночь перед скачкой лошадь непрерывно водят и не дают ей спать. Теперь она в каком-то сонном оцепенении. Отец мой говорит, что «Македония» может развеселиться и разойтись только к концу скачки, на 5-й, на 6-й версте. Он очень жалеет, что заезд всего на 6 верст. Он опасается, что соперники «Македонии», как исключительно сильные лошади, не вполне выдохнутся, а она не успеет во всю разойтись. Мой отец говорит, что, если бы скачка была хоть на восемь верст, то заложил бы все наше хозяйство за свою кобылу и не сомневался бы в выигрыше! Так что публика, по-моему,

рано развеселилась! Не забывайте, господа, «смеется хорошо тот, кто смеется последним»!

Возбужденный Бадня, блестя глазами, выкрикнул последнюю фразу по-французски.

— Интересно, интересно! — послышались вокруг голоса из публики. На Бадню и всю калмыцкую группу направили лорнеты и бинокли.

Между тем стартер, небольшого роста, горбоносый, смуглолицый человек в белом кителе и синих диагональных узких рейтузах, известный спортсмен, Ларион Филиппович Корольков, на скачках промотавший значительное коневодство, выравнивал у кольца лошадей и, уловив момент, с криком «Пошел!», опустил флаг. В ту же секунду ударил колокол, и группа рванулась вперед.

Старт вырвал и скачку повел «Имп»; за ним, в хвост ему пошел, сильно сдерживаемый, рвущийся «Садко»; корпуса на три от него пошел «Дик»; последней, отстав сразу корпусов на пять, пошла «Македония».

Выйдя на противоположную прямую, «Садко» и «Имп» поменялись местами, и «Садко» начал быстро уходить от группы. Первые две версты (один круг) скачка закончилась так: далеко вперед, корпусов на сорок, красиво играя головой, шумно раздувая широкие ноздри, шел «Садко». Нельзя было понять, умышленно ли ездок так уходит вперед, чтобы оставить компанию за флагом, или разозленный могучий жеребец просто уносит малосильного «князя». За ним, вместе, шли «Имп» и «Дик», а позади них, корпусов на десять, вяло перебирала ногами, как будто уже усталая, «Македония».

На третьей версте, вызывая шумные возгласы у публики, «Садко» ушел еще дальше, явно грозя оставить партнеров за флагом (100 сажений), что отдавало бы ему весь приз, без дележа со вторым и третьим. «Имп», между тем, уступил второе место «Дику», а «Македония» шла уже в хвосте «Импа».

К концу четвертой версты, перед самой шумящей трибуной, «Македония» обошла «Импа» и стала мед-

ленно приближаться к «Дику»; ноги ее уже двигались быстрее, броски стали энергичнее. Публика с удивлением видела, что все лошади мокры и дышат с шумным храпом, а «Македония» была суха, и не слышно было ее дыхания.

Публика еще более удивилась и зашумела, когда на пятой версте, «Македония» вдруг промелькнула мимо «Дика» по над канатом и, таким образом, заняла второе место, «Садко» был далеко впереди и все еще неся в руках.

На шестой версте Карпо взял «Македонию» в беспощадный хлыст. На глазах гудящей публики расстояние между нею и «Садко» стало быстро сокращаться. «Садко» был уже в пяти саженях от призового столба, когда бешено финиширующая «Македония», под оглушительный рев и аплодисменты публики, догнала его и поравнялась с ним. Растерявшийся «князь» дал посыл, хлыст Карпо щелкал и свистел по «Македонии», которая вытянув морду, меж линий передних ног, выпрямила весь корпус по горизонтальной линии. Только удар колокола и промелькнувший призовой столб спасли «Садко» от наглядного поражения. Фотографический снимок показал, что только на полголовы «Садко» обыграл «Македонию». Но публика всецело осталась под впечатлением победы калмыцкой лошади.

Возбужденный владелец «Македонии» — «Первешка», как его окрестила тут же публика, подошел к трибуне и закричал:

— Господин Боков! Ставлю 500 рублей и вызываю вашего «Садко»... Давайте продолжим скачку еще на одну версту!

На вызов никто не отозвался. Только публика зашумела и захлопала в ладоши.

— Вот, видите? — говорил торжествующий Бадня, обращаясь к соседу, незнакомому русскому. — Это и есть калмыцкая тренировка лошади! Ваши скачки на версту, редко на 4-5 верст, пустяки; такие скачки не выявляют истинной силы и выносливости лошади, не развивают ни сердца, ни легких ее. А эти качества

должны передаваться потомству и улучшать породу. Быдержка ваших скаковых лошадей направлена только к тому, чтобы лошадь с максимальной резвостью пробежала версту-две и принесла хозяину приз и славу, тогда как истинная цель скачек, это — путем испытания силы, резвости и выносливости отбирать лучших производителей. Вот моя «Македония» показала, что все ее органы отвечают требованиям лучшей матки. А раньше, когда она принадлежала Провальскому заводу и участвовала в скачках — ни разу не заняла платного места. Ее забраковали и продали!

— Да, ваш старик теперь может хорошую цену взять за свою кобылу. Видите, вон уже Супрунов осматривает ее. Это такой лошадишник, что может отвалить цену! — отвечал незнакомый сосед Бадне.

— Вы думаете, что мой старик теперь продаст свою кобылу? Это он сочтет за кощунство. Он сам теперь, небось, думает: вот бы купить «Садко» и случить его с «Македонией», а с приплодом лет через пять заявиться сюда!

— Бадня! Идемте же, уже пять часов, пора начать заседание. Сегодня нам нужно всем собраться, поговориться, организовать, завтра уже некогда, поезд идет рано утром, — обратилась к Бадне Цеценя.

С веселыми лицами, шумные и радостные, перекидываясь веселыми шутками на русско-калмыцком языке, уходили молодые калмыки и калмычки со скачек, направляясь пешком в станицу.

ГЛАВА 7

В маленьком захолустном полукалмыцком-полурусском селе Башанта (правильнее — Бяшенгте), в котором, судя по названию, некогда была резиденция калмыцких ханов, или нойонская ставка, царило необыкновенное оживление. Из разных уголков ставропольских и астраханских калмыцких улусов понаехало сюда множество калмыцкой учащейся молодежи и даже много представителей старой интеллигенции. Гимназисты, студенты, учителя, известные общественные деятели группами сновали по улицам, шумели, сходились, совещались.

Но главным днем считался день прибытия донской калмыцкой интеллигенции. В этот день, за несколько часов до возвращения высланных на станцию подвод с гостями, все съехавшиеся дербетские участники съезда сошлись в местной школе, где должно было открыться заседание.

Гостей-же расписали на постой к местным богачам, которым дали наказ как можно гостеприимнее обходиться с ними, с представителями калмыков-казаков Дона.

Не только интеллигенция, но и простой народ проявил большое любопытство к приезжающим гостям, ибо за последние сто лет приезд бузавов к дербетам был вообще редким явлением. А тут ехала целая группа, да еще среди них девушки. Поэтому, когда вдали запыхали по дороге подводы с гостями, множество народа высыпало на улицу и, стоя шпалерами, ждало их.

Подъехав на передней подводе к началу улицы, где толпа людей была особенно густа, Бадня не выдержал. Остановив подводу, встав, он громко крикнул в толпу по-калмыцки:

— Во здравии ли пребываете, братцы?

— Пребываем! Благополучно ли прибыли, наши братья? — гулом голосов ответила толпа. Оживленные разговоры, шум и гам, откровенные суждения о том или ином госте свободно раздавались в толпе.

Донских калмыков приехало двадцать человек — девять парней, студентов и учащихся средних школ, и одиннадцать девушек, гимназисток и учительниц. Когда брички подъехали к зданию башантинской школы, навстречу гостям с радостными возгласами высыпала дербетская молодежь.

После шумных приветствий и знакомств, гостей ввели в убранную цветами залу, и старший из местной интеллигенции, Амур-Санан, на складном и чистом калмыцком языке обратился к приехавшим с речью:

— Всматриваясь в ваши милые и родные лица, я не вижу среди вас того, кто может быть старше меня по летам. Исходя из этого, по нашей национальной традиции, я разрешу себе назвать вас младшими братьями и сестрами... Мои прекрасные младшие братья и сестры! Видя вас, как звезды дневные, засиявших между нами, словно цветки лotosовые, представших перед нашими очами, прибыв из давно оторванной от нас нашей родной части, моя печень тает от умиления, сердце трепетно бьется от радостного волнения. Ваши единокровные и единоверные с вами братья, представители интеллигенции друх других групп нашего калмыцкого народа, моими устами приветствуют вас... Не только интеллигенция, но и весь видящий вас народ выражает по случаю вашего приезда свою радость. Но и в радости буйной не забудем мы нашей праматеринской традиции, которая гласит: «Накорми и утоли жажду приехавшего к тебе, а потом и беседу поведи». Вас сейчас разведут, как гостей, по домам. Вы отдохнете с дороги, а вечером, после захода солнца, наши младшие братья приведут вас сюда. Здесь, в этой комнате, будут происходить наши деловые беседы. Не стесняйтесь, помните, что вы приехали к своим родным.

С ответом на приветствие Амур-Санана от донской группы выступил Бадня Цагаков:

— Старшие и младшие братья! — начал он по-калмыцки, а потом запнувшись, перешел на русский язык и свободно, с подъемом продолжал: — От имени донской группы, с чувством восторженной радости при-

ехавшей к вам, благодарю вас за братский прием. Мы с вами дети одного народа, осколки одного целого, по злому умыслу царской власти разбитого на три части. Но!... как тот сказочный богатырь, который, будучи разрублен на части, в час полнозвездия соединял части своего тела и вновь воскресал, мы, после двух веков разрозненной жизни, при первых отблесках революционной молнии, вновь потянулись друг к другу, чтобы от взаимного целительного общения полным темпом заиграл пульс национальной жизни, чтобы он вновь являл собою единое целое... Мы приехали к вам, чтобы в этот ответственный исторический момент, когда над головами народов России засияло солнце свободы, посоветоваться с вами, как передовые мужи народа, о важнейших вопросах нашего национального бытия... Не судите нас, что мы, будучи молодыми и неопытными, приехали к вам по такому важному делу. Нужно помнить, что во все времена, у всех народов, именно молодежь являлась верной отразительницей чаяний народа. За два века жизни в разных условиях выработались и разные обычаи. Ваш народ, может быть, удивится, что к вам, наряду с мужчинами, приехали и девушки. Прошу вас не осуждать наших сестер — у нас иные обычаи, наши женщины на ином положении, мы — вольные казаки Тихого Дона, у нас все равны. Спасибо вам, братцы, за вашу искреннюю радость по случаю нашего приезда. Мы видим и чувствуем, что приехали к своим...

Речь Бадни была покрыта дружными аплодисментами и криками: «Правильно! Да здравствуют бузавы! Да здравствуют наши сестры!».

Как попало, разделившись на группы по два, по три человека, бузавские гости в сопровождении местной учащейся молодежи разошлись по заранее отведенным домам.

При первом же взгляде на две группы калмыцкой интеллигенции, на бузавскую и дербетскую, замечалась внешняя разница. Среди дербетской интеллигенции не было ни одной женщины, а в бузавской группе

девушек было большинство. Среди дербетов, наряду с учащейся молодежью, были и пожилые люди — адвокаты, старые учителя и чиновники, а донская группа состояла исключительно из молодежи, приблизительно, допризывного возраста, одних с Бадней лет. Дербеты свободно и хорошо говорили по-калмыцки, а бузавы больше говорили по-русски, особенно барышни.

Внимательный глаз и слух могли уловить и отличить: у донцов речь сыплется быстро и громко, движения их порывисты, жесты резки и энергичны; у дербетов разговор течет медленно, слова тягучи, движения вялы, медлительны, жесты почти отсутствуют. У бузавца взор смел, колюч, у дербета он мягок и вежлив.

Это двести лет, прожитые в разных правовых и психологических условиях — дербеты среди мужиков, а бузавы среди казаков — наложили свой отпечаток на двух частях одного и того же народа.

Собраться вечером того же дня, как предполагалось, не удалось. Гости так радушно были приняты, так много получили приглашений, что до поздней ночи принуждены были отдавать визиты.

Только на другое утро, после завтрака, обе группы полностью сошлись в здании школы. Налицо было около пятидесяти человек. Как только собрались все участники съезда, Амур-Санан, как хозяин и старший по летам, поднялся на устроенное для президиума возвышение и объявил:

— Братья и сестры! Для руководства заседанием съезда прошу избрать президиум. Прошу называть кандидата в председатели съезда.

Встал Бадня и громко заявил:

— По калмыцкой традиции, на совете мужей председательствует тот, у кого самая седая голова, т.е. старший. Я предлагаю избрать нашим председателем брата Амура-Санана.

Раздалось дружное «Просим!»

Заняв место председателя, Амур-Санан предложил избрать в товарищи председателя одного бузава и одного астраханца. Были избраны Бадня Цагаков и студент

Цайков. Секретарем избрали пожилого чиновника, ставропольца.

Когда президиум занял место за столом, председатель обратился к собранию:

— Первым вопросом мы должны решить, как мы назовем наш первый съезд представителей трех групп нашего народа. Не имеет ли кто по этому вопросу предложение?

— Калмыцкий национальный конгресс! — выкрикнул кто-то из рядов.

— Ойратский хурулдан! — крикнул кто-то другой.

— Калмыцкий национальный съезд — предложил третий.

— Съезд калмыцких общественных деятелей!

— Конференция...

Раздался смех, поднялся шум, посыпались остроты, одно название летело за другим.

Постучав карандашом по столу, поднялся нахмуренный председатель.

— Господа! Через много сотен лет впервые съехались представители нашего народа и пытаются совместно обсудить важнейшие вопросы нашей жизни. Вы, младшие братья, находитесь на историческом заседании. Прошу братьев и сестер относиться к делу серьезно. Смех и шутки приберегите на увеселительную часть нашего съезда. Слово принадлежит сестре Цецене Кермековой.

Встав, подавшись корпусом вперед, вперив свои косые глаза в группу президиума, спокойно, внятно чеканя слова, по-русски заговорила Цеценя:

— Прежде всего, я решительно поддерживаю просьбу нашего председателя товарища Амур-Санана о серьезном отношении к делу. В вопросе же, как назвать наше настоящее собрание, по-моему, недостаточно выкрикивать то или иное название, а необходимо это название обосновать, чтобы название соответствовало содержанию, которое определяется как характером правомочий участников, так и характером вопросов, подлежащих обсуждению. Участники этого съезда не явля-

ются законно и легально делегированными представителями общественности, а только добровольно съехавшими лицами из среды интеллигенции, а самый съезд наш не имеет перед собою определенных и ограниченных заданий. Исходя из этих соображений, я предлагаю назвать наше собрание «Частным совещанием групп интеллигенции калмыков донских, астраханских и ставропольских».

Деловое и серьезное выступление этой маленькой и невзрачной девушки произвело на собрание хорошее впечатление.

— Я снимаю свое предложение!.. И я, И я! — понеслись голоса.

Поставленное на голосование предложение Цецени было принято единогласно.

«Молодец наша Цеценя», — подумал про себя Бадня, в каком-то торжественном настроении сидя за столом президиума и разглядывая аудиторию. Он видел, что бузавские девицы светлыми точками рассеялись в среде дербетской молодежи. Его товарищи сидели кучей в левой половине, ближе к президиуму. В одном из задних рядов сидела его Зиндмя, между двумя молодыми студентами-дербетами. Один из них, тот, что сидел по левую руку от нее, был светлолиц, широконос и толстогуб. Слегка приоткрыв рот, прямо смотрел он в сторону президиума и на Зиндму не обращая внимания. Было ясно, что это — сосед случайный. Другой, что сидел по правую руку Зиндми, был небольшого роста, смуглолицый, густобровый, прямоносый красавчик, с хорошо сделанным пробором посередине черной, как смоль головы. Он сидел, тесно придвинувшись к Зиндме и весь был поглощен ею. Было видно, что красавица Зиндмя занимает его больше, чем само собрание.

Скользнув взглядом по остальным барышням, Бадня заметил, что за каждой из них ухаживают местные кавалеры.

«Своих девушек не учат, держат по домострою, а на наших девушек набросились, как пчелы на цветы. Напрасно я затащил сюда этих девушек. Никто из них,

кроме умницы Цецени, серьезно не интересуется делом», — думал Бадня. Тем временем смуглолицый красавчик сунул в руку Зиндме записку. Невольно, уголком глаз следя за ними, Бадня заметил, как Зиндма прочитала, улыбнулась и, что-то написав на той же бумаге, вернула записку ухажору. Бадню это неприятно кольнуло.

В эту минуту председатель заговорил:

— Наша сестра Цеценя Кермекова, только что давшая нашему съезду такое точное название, совершенно правильно заметила, что наш съезд не имеет перед собой конкретно намеченных задач. Мы, представители дербетской интеллигенции, полагали, что наши братья бузавы, как инициаторы данного съезда, предложат нам основную тему нашей беседы. Если среди донцов есть докладчик или выработанная программа работ, то я бы просил...

Глазами продолжая следить за поведением чернобрового студента возле его Зиндми и слушая председателя, Бадня вспомнил, что он должен в эту минуту выступить от имени донской группы. Взглянул на Цеценю, он поймал ее одобрительный взгляд, Бадня улыбнулся ей. Он поднялся, откашлялся, облизал губы, по привычке сжав их, и приступил к изложению основной цели, которую донская группа преследовала, предлагая съезд.

Это выступление он уже демонстрировал дома перед Цеценей и Зиндмой. Девушки нашли, что хорошо, что не стоит записывать, чтобы не нарушить вдохновения, что неизбежно при чтении. Бадня на этот раз робел и уже жалел, что не записал, но делать было уже нечего...

— Товарищи!... Около трехсот лет тому назад был наш единый, организованный и сильный народ в эти, тогда пустынные, степи под водительством своего хана и занял их по праву первого заселения, по праву захвата. Никто нам не разрешал здесь заселяться, никого мы не спрашивали, да и не у кого было спрашивать... Но наш приход совпал с двумя важными моментами: с началом роста силы Московского царства, с

началом его государственной экспансии и с началом разложения у нас феодального государственного строя. Как известно, у оседлых народов этот исторический этап благополучно бывал изживаем, но для государства с населением кочевым, вольно разбросанным по громадной территории, кризис феодализма оказался весьма роковым. Наличие этих двух моментов в истории нашей и русской и обусловило то, что наш народ очень быстро оказался в положении острова, залитого приливом моря. Три века могучие волны все растущей, все расширяющейся и усиливающейся России разрушают берега этого островка. В результате — основное наше ядро размыто и оторвано от нас и унесено далеко на восток. Оставшаяся часть, в свою очередь, была разделена на три группы — на большие и малые дербеты и на бузавов, на калмыков астраханских, ставропольских и донских. Каждой группе, искусственно изолированной от других, оказавшейся под влиянием иных жизненных условий, грозит незаметное и тихое растворение в окружающей среде иного народа... Такое положение, в национальном смысле, является просто гибельным. Только великая февральская революция создала благоприятную атмосферу, разорвав железные цепи вокруг нашего народного тела... Товарищи! Революция не частая гостья в жизни государства. Много сотен лет ждал ее русский народ, много сотен лет готовила ее русская революционная интеллигенция, пока дождалась падения позорного ярма царизма. И горе тем народам, которые не сумеют воспользоваться сладкими, зрелыми плодами этой революции. И вот, молодое крыло донской калмыцкой интеллигенции, зная общее печальное положение народа в целом, учитывая психологические и политические моменты данного периода времени, нашло, что нашему народу, в качества альфи и омеги всего бытия, недостает национального единства, соединения и слияния. Если эта наша стержневая мысль найдет созвучный отклик в мыслях ваших, братья дербеты, если наши души звучат на одних и тех же струнах, то мы предлагаем обсудить те способы

и средства, которыми могли мы бы решить данную задачу.

— Правильно-о-о!!! Браво, донцы — раздались из рядов возгласы, и все собрание разразилось бурными аплодисментами. Бадня поклонился; отпивая из стакана воду, он увидел, как Зиндя, с игривой улыбкой, снова сунула в руку соседа справа записку. Гневом запылало сердце Бадни. Ему неудержимо захотелось подбежать к чернобровому ловеласу, схватить его за шиворот и вытолкнуть из комнаты. Но обстановка и момент были слишком особенны, и он усилием воли подавил это желание. С силой сжав левую руку спинку стула, повысив голос, он продолжал:

— Донская группа и по этому вопросу приехала с конкретным предложением, вынесенным нами по тщательному обсуждению положения как у нас, на Дону, так и у вас, здесь с учетом возможных препятствий как со стороны администрации в краях, так и со стороны народной массы. Братцы! Едва ли может быть спор о том, что правовое, политическое, административное и материальное положение донских калмыков, живущих с казачеством на равных основаниях, на много лучше, чем положение других двух групп нашего народа. Исходя из этого, во-первых, учитывая возможность еще большего увеличения казачеством своих автономных прав в будущем, во-вторых, зная, что наши бузавы не захотят терять своих казачьих прав, в третьих, принимая во внимание, что казачество охотно пойдет навстречу идее увеличения в его семье калмыцкого элемента, — мы предлагаем нашим братьям дербетам перейти в казачество и в составе донского казачества решить вопрос нашего объединения.

Бадня кончил. В донской группе раздались хлопки, но, не поддержанные остальной частью собрания, сейчас же оборвались. Пожилой дербет, адвокат, с бледным и полным лицом, сидевший в переднем ряду, усмехнулся и отрицательно покачал головой. Немолодой худой чиновник с коротким и приплюснутым носом, с большой безобразной бородавкой между бровя-

ми сделал большие глаза. Красивый рослый подпоручик, с цветущим лицом, одобрительно кивал головой. Но в зале была тишина. Было ясно, что конец речи насторожил большинство собравшихся.

Обводя глазами всю аудиторию, Бадня заметил, как смуглый красавчик что-то шепнул на ухо Зиндме. Дальше он увидел, что миловидные, развязные девушки-бузавки отвлекают интерес дербетской молодежи к собранию. Каждая их девиц служила предметом самого нежного внимания со всех четырех сторон. Только Цеценя в первом ряду с краю, рядом со странным студентом в измятой синей нанковой паре, с громадной копной черных волос до самых плеч, не подвергалась ухаживаниям. Когда Бадня встретился с нею глазами, Цеценя одобрительно улыбнулась и кивнула головой. Бадня понял, что она довольна его выступлением.

После речи Бадни начали выступать дербеты. Все они в один голос приветствовали идею объединения, но большинство возражало против предложения донцов — войти в состав Донского войска. Но у самих дербетов не было единодушного мнения по вопросу практического осуществления идеи объединения. Мнения их разошлись по трем направлениям.

Наиболее значительная и молодая часть собравшихся выдвигала идею необходимости добиться объединения калмыков в составе собственно-калмыцкой автономной области, как инородческой территориальной единицы. Они боялись, что казаки, как бывшая опора царизма, при новых порядках окажутся на положении игнорируемой группы и потому калмыкам уже не будет смысла к ним присоединяться.

Старшие представители дербетской общественности предлагали принять меры к образованию собственно-калмыцкого казачьего войска совместно со смежным и малочисленным астраханским войском; при такой комбинации влияние калмыков на дела войска будет доминирующее.

Третье течение было в пользу предложения донцов.

Эта группа была незначительна, но она состояла и из молодых и из старых и выступала она активно.

Начались длинные и горячие прения, затянувшиеся до самого обеда. В этих прениях со стороны донцов деятельное участие, при молчаливой поддержке всей бузавской группы, принимали только Бадня и Цеценя. Выступления их были разны по характеру и темпераменту, но били в одну точку. Бадня горячился, кричал, стучал кулаком по столу, взывал к чувству. Цеценя спокойно плела ясные узоры, напирала на практическую сторону дела — на материальное улучшение жизни дербетов в Донской войске, на легкость разрешения вопроса, на обеспеченность благоприятных условий для развития национальной культуры. Она не только защищала свои положения, но попутно метко и тонко критиковала предложения двух дербетских групп, выступающих против предложения бузавов.

Из их выступлений дербеты увидели, что инициаторами и душой движения является эта пара, столь различная по характеру ума и складу мыслей.

На обед Бадня, Зиндмя и Цеценя пошли к Амур-Санану. Дорогой, продолжая беседу по вопросу, вызвавшему столь горячие споры, Цеценя с саркастической улыбкой заметила:

— Нет, Бадня, другой раз мы сделаем не так. Мы ошиблись, что мало захватили с собой красивых и кокетливых девушек. Если бы их побольше приехало, кажется, дербетская интеллигенция вся уехала бы на Дон и записалась в казаки, а за нею последовал бы и народ.

Пожилой и серьезный Амур-Санан не мог удержаться и громко расхохотался.

— Ну и злой же у вас язык — не язык, а игла! Но напрасно вы так надеетесь на своих Клеопатр: может стать, что ваши девицы остались бы у нас! — отвечал он, продолжая смеяться.

— На этом фронте дело идет без горячих прений, только мирный обмен нотами! — глядя с усмешкой на

Зиндму, вставил Бадня, намекая на ее переписку с своим чернявым соседом.

Зиндмья поняла, что стрелы пускаются в ее адрес, густо покраснела и рассердилась в душе на Цеценю, напавшую разговор в такую плоскость, но сказать ничего не нашлась. Закусив нижнюю губу, с горящим взглядом, еще более прекрасная в гневе, она промолчала всю дорогу. Заметив неловкое положение девицы, в которую с двух сторон пустили ядовитые стрелы, умный и тактичный Амур-Санан постарался придать разговору иное направление:

— А все-таки, так мило и трогательно для нас, стариков, что наши младшие братья и сестры, преодолев вековое отчуждение и далекое расстояние, так родственно встретились и так братски общаются. Этому можно только радоваться.

После обеда — до вечера и второй день целиком ушли на прения по тому же вопросу о способах объединения калмыков. Ни к какому определенному решению собрание не пришло, так как каждая группа неуступчиво стояла на своем.

В конце-концов, устно согласились, что искать путей объединения нужно при всех условиях, всеми доступными средствами одновременно. Формулу эту предложила Цеценя. Она надеялась, что дербеты особой активности не проявят, а донцы, подняв вопрос на Донском Круге, при поддержке своего министра Уланова, проведут решение, и дербеты пойдут по линии наименьшего сопротивления.

К концу второго дня Бадня внес предложение обсудить вопрос о необходимости интенсивного изучения калмыками родной грамоты и организации издания одного общекалмыцкого периодического печатного органа.

Мысль его восторженно была принята собранием во второй части, но вызвала оживленные прения в первой части, в отношении шрифта. Часть дербетов предлагала перейти на русскую транскрипцию. А иные предлагали принять латинский алфавит. Бадня и Цеценя опять вступили с дербетами в горячие споры, солидно и обос-

нованно доказывая преимущество родного письма. В этом вопросе собрание вовсе не пришло ни к какому соглашению.

Третий день молодежь посвятила подготовке к концерту-вечеринке, которым решили завершить съезд. Общим советом составили программу, состоящую из хоровых и сольных песен, бузавских и дербетских танцев, выступлений струнного оркестра, декламации, обращения председателя к публике с информацией о решениях съезда и общих танцев.

Девиды-бузавки очень помогли в концертной части съезда. Концерт-вечеринка вызвала в селе такой большой интерес, что маленькая зала школы не могла вместить и половины навалившейся публики. Билеты перекупались богачами за десятикратные цены.

Быстрые и бойкие на язык и, в большинстве, хорошенькие гимназистки-бузавки, своею распорядительностью, смелыми и организованными выступлениями вызвали восторг публики, особенно дербетской молодежи. За общую фотографию донской группы местные мужчины швыряли на стол крупные купюры. Сотни открыток, предусмотрительно изготовленных и захваченных по настоянию Зиндми, были расхвачаны за полчаса и с лихвой покрыли все путевые издержки группы.

Самый большой успех выпал на долю красавицы Зиндми, которая выступала соло с калмыцкой песней. Когда она, в белом кисейном бешмете, туго затянутая в тонкой талии золотым кушаком, с кроткой смущенной улыбкой, появилась на эстраде, зала взорвалась от аплодисментов. Ее чистый, хороший голос, старательное и умелое исполнение песен весьма понравилось публике. Вызовам не было конца. Когда она в один из вызовов спела с особенным чувством старинный лирический романс, посвященный любви и разлуке, заканчивающийся куплетом:

Сколько ни сидеть с тобой,
Нельзя познать скуку,

Как далеко бы ни уехать,
Нельзя забыть тебя, —

дербетская молодежь с криками восторга бросилась к эстраде, забросала Зиндму цветами, и вся зала устроила бурную овацию.

Станным чувствами была одержима в эти дни съезда Зиндмья. Душа ее раздвоилась, и вступили в борьбу два чувства. Она ни на минуту не забывала, что она — невеста, что любящий и любимый ею жених следит за ее поведением, но сердце, помимо сознания, тянулось к смуглому красавцу, льстивому и упорному ухажору, студенту-медику Усутову. Она немогла удержаться от проявления признаков своей симпатии к этому веселому, болтливому молодому парню, в глазах которого она читала восторг юношеского увлечения. Этот парень, на два года моложе ее, нравился ей в эти дни больше всех мужчин на свете.

Целые дни и два последних вечера Усутов, с привязанностью балуемой собаки, не отходил от Зиндми, к ее явному удовольствию. Не нужно было ни особой проницательности, ни наблюдательности, чтобы понять взаимное увлечение Зиндми и Усутова.

Видел все и Бадня. Большим напряжением воли он сдерживал себя, чтобы не закатить невесте и ухажору публичный скандал. Только задетая гордость не позволяла ему показать свою ревность, которая горьким ядом отравляла ему настроение.

На четвертое утро, после сердечных проводов дербетов, донская группа, с несколькими провожающими до станции местными студентами и гимназистами, выехала в обратный путь, направляясь к Торговой.

Бадня, Зиндмья, Цеценя и Усутов сели на одну подводу. Довольная своей поездкой и оказанным радушным приемом в гостях, молодежь шумела, пела и балагурила на всех подводах. Словоохотливый Усутов без умолку занимал девиц. Только Бадня угрюмо молчал.

— Коллега Цагаков, кажется, недоволен, что я ухаживаю за его невестой? Я прошу простить, ваша не-

веста так прекрасна, что молодому человеку трудно удержаться от ухаживанья, — проговорил вдруг Усутов, обращаясь к Бадне.

Бадню внутренне взорвало. Ему показалось, что Усутов издевается над ним. Увидев, как сузились у Бадни глаза и посерело лицо, Цеценя незаметно и сильно щипнула его за локоть. Едва сдерживая голос, Бадня ответил:

— Ничего, брат Усутов, продолжайте... На дуэль вас не вызову, вы, все равно, сбежите, а бить не хочу, чтобы не омрачать из-за легкомысленной девочки нашу первую дружескую встречу.

Получив явно оскорбительный ответ, Усутов смущенно молчал. С зардевшимися щеками, блестя полными слез большими глазами, нервно кусая губы, молчала и Зиндмья, в душе моля богов о предотвращении скандала между Бадней и Усутовым. Умолящими глазами она смотрела на Цеценю, чтобы она вмешалась и рассеяла напряжение.

Нехотя, но уступая немой мольбе Зиндмьи, Цеценя заговорила:

— Успокойся, Бадня, ничего предосудительного товарищ Усутов не допустил. Не за одной Зиндмой ухаживали, а за всеми... Даже за мною один приударил!.. Дербеты очень усердные и прилипчивые ухажоры. Это надо признать! В этом они, может, понимали долг вежливости...

— Почему говорите «даже за мною»? Вы не хуже других барышень, наоборот — ваша деловитость, ваш ораторский талант, ваша серьезность вызывала в нас такое восхищение, что мы просто были в восторге! У нас не оказалось достойного кавалера, кроме нашего «Диогена»-Идерова! — живо воскликнул Усутов, с радостью подхватывая разговор.

— Да, вы правы, — вмешался Бадня, — наша Цеценя лучшая барышня, к ней со смазливой рожей и сорочьим языком не подойдешь!..

Разрядившаяся было тягостная атмосфера вновь сгустилась. Глазами, сверкая злобой, взглянула на

Бадню Зиндмя. В эту минуту из передней повозки пересели к ним две болтливые и шумные барышни, и ссора на бричке улеглась.

Когда донская группа стала прощаться с дербетами, Бадня заметил, как Зиндмя и Усутов обменялись при прощании грустными и пристальными взглядами. О любви и грусти говорили их глаза. Бадня получил новую зарядку буйного возмущения. Сжав кулаки, он мысленно выругался.

**
*

На станции Торговой бузавам пришлось ждать поезда целых три часа. Группа разбрелась и по станции и по слободе.

Как только вышли из поезда, Бадня попросил Зиндму пойти с ним погулять и выпить чаю. Они пошли по узкой и кривой немощеной улице и зашли в первую попавшуюся чайную. Зайдя в чистую половину, Бадня заказал два чая.

Когда прислуживающий мальчик, с выбритой головой и большими торчащими ушами, в грязном белом переднике, принес чай и приборы и вышел из комнаты, в которой, кроме Бадни и Зиндми, никого не было, Бадня откашлялся и, не глядя в лицо Зиндме, тихим и печальным голосом, заговорил:

— Я должен сказать тебе, Зиндмя, что твое поведение в гостях не было достойно моей невесты. Оно глубоко оскорбило мое любящее сердце. Это наглядное кокетство, явный флирт с назойливым ухажором, с этим пустым мальчишкой... Мы должны объясниться...

Бадня хотел было продолжать дальше, но неожиданно Зиндмя перебила его:

— А скажи, пожалуйста, что я допустила такого, что ты уже три дня оскорбляешь меня сценами ревности при людях?! Ведь это...

— Послушай, Зиндмя, это... это нечестно с твоей стороны!.. Три дня, в присутствии жениха, открыто... чересчур открыто, флиртовать с первым подвернув-

шимся смазливый ловеласом, а потом спрашивать — что ты допустила?! Я не знаю — что ты допустила или не допустила, но видел, что недостойно себя вела. Это ты должна понять, признать и извиниться!.. Иначе это буде бесчестно. А я считал тебя честной девушкой, иначе бы...

— Оставь, пожалуйста! Напрасно ты считал! Пусть буду бесчестная, а извиняться перед тобой не стану! Многого хочешь!.. Ты не муж еще и не можешь своею глупою ревностью позорить меня при людях!.. Ухаживали там за всеми, Усутов мне нравился больше других, я и проводила с ним время — шутили, разговаривали, дурачились, сыпал он комплименты. Что?! Тебя я должна была спрашивать, как себя держать в гостях! — с неожиданной резкостью и решительностью накинулась на него Зиндя, в сильном волнении дрожа всем телом и до крови кусая губы.

Бадня растерялся. Он не был готов к такой сцене. Он ждал извинения и слез. Великодушным прощением он хотел лишний раз доказать свою к ней любовь, а тут дело приняло совершенно непредвиденный оборот. В душе его поднялась буря негодования.

— Нет! — стукнул он кулаком по столу. — Я не шучу, чорт подери! И з в и н е н и е!.. Или с нечестной девушкой мне делать нечего!

— Ищи себе честную девицу, а меня оставь в покое! Не думай много о себе. Таких грубиянов много на свете! Я знаю, что значит эти придирки! Пожалуйста: мы свободны от наших слов! — проговорила Зиндя и, едва сдерживая подступающую к горлу рыдание, выбежала из чайной. Она не хотела плакать при Бадне.

Бадня остался сидеть, уставившись глазами на отбитый и заделанный оловом носик глиняного пузатого чайника. Мысли его путались. Оскорбленная гордость, разочарование в любимой невесте, неожиданный разрыв с ней — создали полный хаос в его голове.

Глотнув из чайника уже холодную воду, расплатившись за чай, Бадня вышел и пустился бродить по городу. В потемках он вернулся на станцию. Поезд стоял

на пути, и все уже сидели в вагоне, заняв два соседних купе.

В одном из них, на верхней полке, отвернувшись лицом к стенке, накрыв голову платком, лежала Зиндмья. Парни и девицы сидели с растерянными лицами. Все уже знали, что между Бадней и Зиндмой разыгрался большой скандал.

Бадня прошел в соседнее купе. При входе его, Цеценя подвинулась и дала ему место возле себя, ближе к окну.

Через несколько минут поезд тронулся. Лязгнули цепи, и в окнах медленно поплыли городские огни, полетели, мелькая вдоль вагонов, искры, и поезд побежал во тьму.

— С большим результатом едем домой, — три девицы получили предложения от дербетов, — кисло улыбаясь, сказала Цеценя, обращаясь к Бадне.

С очень большим!.. — не глядя на нее, буркнул Бадня и лбом прильнул к черному стеклу окна.

Будто черкушкой кто хватил по голове Пурве Цагакова, когда Бадня объявил ему о разрыве с невестой. Как ни любил он сына, как ни считался с ним, а забурлило кипучим гневом сердце от такого поступка Бадни. Никогда до этого Бадня не видывал отца в таком бешенстве. Сжав могучие кулаки, побагровев, громовым голосом заорал он на сына:

— Кто это тебе позволили?! Нет-нет! Ты шагнул через черту! И думать не смей о том, чтобы обижать мою Зиндму!.. Ее само небо послало нам! Ты забыл, что у тебя есть родители! Это разврат и развал!..

Старик буквально задыхался от ярости, и внушительные кулаки вот-вот готовы обрушиться на голову Бадни. Не ожидавший такой реакции со стороны отца, Бадня растерялся. Боясь дальнейшего развития отцовского возмущения, он молчаливо дал ему накричаться. А когда разрядившийся Пурве, с побледневшим лицом, раздувая ноздри, вынул кисет и дрожащими руками стал набивать трубку, Бадня спокойно ответил:

— Зря, папа, сердитесь, дело сделано, с невестой мы разошлись окончательно.

— Да скажи ты, несчастный, что случилось? — хватив набитой трубкой об пол, снова заревел Пурве.

— Не могу это вам объяснить, мы поссорились, невеста оскорбила и обидела меня, заставила при людях краснеть. Лучше я никогда не женюсь, чем к ней снова идти. Если не будете меня неволить, то я опять сам найду хорошую невестку...

— Найдешь!.. Никогда не найдешь такую, как Зиндмя, в ее глазах безгрешность и доброта! — воскликнул отец, хлопнул дверью и выбежал на двор, направляясь на кухню. Оттуда через минуту выбежали и побежали в дом мать и сестра Бадни.

— Да что ты сказал отцу, что он так озлился? Говорит, ты невесту бросаешь, что ли? — в один голос набросились Уланка и Эрвни на Бадню.

— Да!.. Бросил уже, а что? — крикнул Бадня, вскакивая со стула.

— Не ори ты, бешеный, тоже в отца весь!.. Сядь и расскажи мне спокойно, что случилось между вами! — заговорила мать, утирая слезы большим пестрым платком, неизменно висящим у нее сбоку на петельке.

— Ты уходи, Эрвни, я с мамой буду говорить, — приказал Бадня. Кинув на брата озлобленный взгляд, вышла из комнаты Эрвни. Она вошла в свою комнату и, на цыпочках подойдя к смежной с залой двери, приложила ухо к замочной скважине.

Как ни внимательно слушала Уланка сына, как ни старалась понять, но так-таки и не поняла, за что же Бадня рассердился на Зиндму. В поведении Зиндми, кроме маленькой вольности в присутствии жениха, ничего особенно предосудительного она не уловила. «Но все они, эти ученые, так свободно себя держат. Другие девочки так же себя вели?» — думала она, слушая сына.

Когда Бадня умолк, Уланка решительно сказала:

— Дуришь ты! Отец избаловал тебя. Когда дети так своевольничают, то добра не бывает. Это проклятая твоя русская наука тебя испортила. Не пошлю я теперь Эрвни в школу. Чего еще, и девочка начнет так своевольничать, так и вовсе позор на весь род ляжет. Рожать вас — одна мука, растить — другая мука, а вырастить — третья мука... Неблагодарные! — кинула мать, уходя из комнаты.

Упрек любимой и нежной матери не меньшей тяжестью лег на Бадню, чем гнев отца. Но отступать было уже поздно. С Эрвни он и не хотел говорить, знал, как она любит Зиндму.

Запершись в кухне, до поздней ночи тихо советовались Уланка и Пурве, как быть, чтобы не потерять такую милую невестку, как заставить сына жениться на ней.

— Ну, берегись, бунтовщик! Папа и мама решили тебя проучить. Глупости делаешь, так получишь, — со

злостью в голосе прошептала Эрвни, проходя мимо Бадни в тот же вечер.

Бадню это поразило. Никогда отец его не бил даже в малолетстве, а теперь, когда он уже взрослый парень, уже студент, можно сказать, побои ему казались совсем невероятными.

Но, вспомнив, как в хуторе многие отцы колотят своих женатых сыновей, часто отцов семейства, или даже выделенных, Бадня предусмотрительно замкнул комнату, открыл окно, чтобы выпрыгнуть, если отец ворвется и целый вечер провел в тревоге. Но отец не пришел. «Эрвни пугает» — решил он.

На другое утро он с опаскою сел к чайному столу, подальше от отца. Но Пурве молчал, и завтрак прошел без сцен. Когда завтрак подходил к концу, подошел кучер Павло и доложил, что лошади оседланы.

— Выведи к воротам, а ты, Бадня, надевай сапоги, поедem на коровий кош, — приказал Пурве.

Бадня решил, что отец совсем успокоился. На летний коровий кош, который был верст за восемь, на запасных участках хутора, в Семейовой балке, и раньше частенько езживали. То корова заболает, то пастуху харчи отвезти, то конторку подчинить, то сваленные столбы поправить.

Скинув чужаки, надев сапоги, он в одной гимнастерке сел на своего рыжего четырехлетку, полукровного «Бюргеда», беззаботно поехал с отцом в степь. Но так как Пурве все еще был не в духе и мрачно молчал, то Бадня не ехал с ним рядом, как обычно, а держался немножко позади. Отец молча ехал, хотя «Македония» под ним частенько оглядывалась назад своим единственным глазом, призывая своего молодого кавалера поравняться с нею.

Вдруг Бадню кольнула неприятная мысль: «А не хочет ли меня отец вывезти в степь и, вдали от людского глаза, проучить?» В ту же минуту он обратил внимание на увесистый, вдвое сложенный арапник в руке отца, тогда как раньше, выезжая на резвой «Македонии», ничего в руку не брал.

Большого роста, плотный, широкоплечий, известный силач в недалеком прошлом, на резвой кобылице, с арапником в руке, Пурве показался Бадне богатырем. Ему стало жутковато. Беда была в том, что Бадня не мог даже защищаться против отца, ибо драться с отцом в калмыцкой среде было неслыханным явлением. Единственное, что допускается в таких случаях, это — бегство. Но на «Бюргеде» трудно было ускакать от «Мацедонни».

«Хотя бы далеко от хутора не вывел, на короткое расстояние «Бюргед» может ускакать, но плохо, если он вздумает бить возле коровьего коша... А может, он и не думает бить, чего зря голову морочу!.. Наверняка, Эрвни хотела попугать меня», — думал Бадня, следуя за отцом.

Уже недалеко было до коровьего коша. Пурве и Бадня въехали в глубокую и просторную Семейевую балку, по которой нужно было проехать с версту до коша, и вдруг случилось то, чего Бадня никак не ожидал. Пурве неожиданно остановил кобылу, а Бадня, не успев задержать коня, поравнялся с ним. В ту же секунду, движением левой руки отец схватил чумбурный повод Бадни и, как разозленный волк сверкнув глазами, загремел:

— Ну! Будешь невесту бросать? Говори, несчастный, а то до костей, исполусую тебя!..

Не успел Бадня произнести и слова, как свистнул в воздухе арапник и обжигающим языком лизнул его по спине, через плечо. Один за другим засвистели огневые удары.

Вскрикнув, Бадня хотел было спрыгнуть с коня, но его осенило, что так будет хуже, и он дернул чумбур из рук отца. Но Пурве, предвидя это, держал крепко. Вырвать не удалось, хотя в помощь Бадне еще прыгал и рвался испуганный «Бюргед».

Разъяренный старик, между тем, беспощадно сыпал удар за ударом, приговаривая:

— Говори!.. Говори!.. Говори!.. — хотя было ясно, что сыну совсем не до разговора.

Вдруг Бадня инстинктивно потянулся рукою к голове лошади, и неожиданно для Пурве, сбросил уздечку. Почувствовав свободу, прыгавший и дрожавший в страхе «Бюргед» метнулся в сторону. Не соображая ничего, кроме того, что нужно ускакать от отца, Бадня двинул каблуками по бокам коня. Прижав по заячьи уши, в вихревом беге вытянулся молодой, резвый «Бюргед» по степи, свистя по ветру гривой и хвостом, не считаясь с балками, буераками и курганами.

От неожиданности Пурве ахнул и обалдел. Гнев его мгновенно исчез, и в душу холодной струей хнынул жуткий страх за судьбу любимого и единственного сына. Услужливая память воскресила в его мозгу случаи, когда он видывал свернувшего шею или застрявшего ногою в стремени обезображенного табунщика.

Несколько раз вытянув арапником «Мацедонию», он погнался за умчавшимся сыном, чтобы догнать «Бюргед» и как ни будь остановить.

Но Бадня успел оторваться на много сот сажений. Досадуя на седока, так прозевавшего старт, чувствуя излишнюю тяжесть Пурве, «Мацедония» медленно стала приближаться к «Бюргеду». Между отцом и сыном начался своеобразный «Стиплъ-Чейс». Оглянувшись назад и увидев мчащегося за ним старика, Бадня, пригнувшись к гриве коня, еще и еще бил каблуками «Бюргед»а. Он решил лучше свернуть шею, или быть раздавленным конем, чем снова испытать на спине режущие удары арапника.

К удивлению уверенной в победе «Мацедонии», минутно хлеща ее арапником, Пурве вслух молился всем богам:

— Дәрке, помогите!.. Дәрке, помогите!.. Множество богов, помогите! — повторял он.

Уже вдали показался хутор, когда «Мацедония» начала сокращать расстояние между нею и молодым «Бюргедом». Заметив, как Бадня, вместо попытки остановить коня или повернуть его в степь, в сторону от хутора, колотит его каблуками, Пурве закричал:

— Не погоня-я-я-й! Бей по ше-е-е! . . . Сворачивай . . . Сворачива-а-ай! . . . Не буду бить! . . . Не буд-у-у!!!

Наконец, разошедшаяся «Македония» догнала «Бюргеда» и, поровнявшись с ним, стала напрягать силы, чтобы обойти его. Для привычной к состязаниям кобылицы и данный случай казался скачком по неудобному грунту, под лишним весом и глупым жокеем, который зря исполосовал ее брюхо незаслуженными ударами. Так как Пурве продолжал выкрикивать, что не будет бить, Бадня перестал погонять коня, а рыжий уже явно начал сдавать, в диком страхе отдав все свои силы на первых верстах. Пороснявшись с головой «Бюргеда», Пурве накинул на его морду сложенный вдвое арапник и, осторожно сдерживая, остановил его.

Спрыгнув с тяжело дышавшего коня, Бадня взялся за его челку. Пурве бросил сыну уздечку, слез с кобылицы и молча заплакал.

Бадня понял, какое чувство сменило гнев отца, когда он без уздечки дико помчался на испуганной и малоезженной лошади, и ему стало жаль старика.

— Папа, прости меня! — подошел он к отцу.

Утирая рукавом рубашки глаза, Пурве снова сел на кобылицу и молча поехал на хутор. Бадня поехал рядом с ним. Едучи уже по улице хутора и приближаясь к своему дому, Пурве спросил:

— Возьмешь обратно невесту?

— Нет, — твердо ответил Бадня.

Старик горестно вздохнул и махнул рукою. Отец и сын помирились. Хоть ныла и горела спина, Бадня с радостью понял, что он одержал победу над крутым отцом. Когда отец и сын мирно рядом въехали в свой двор, Уланка и Эрвни решили, что они на чем-то поладили.

Сев на краешек своей койки, Бадня, морщась от боли в спине, стягивал сапоги, когда заглянувшая к нему Эрвни с иронической улыбкой спросила:

— Ну что, получил?

— Получил.

— Здорово?

— Посмотри спину.

— У-у, яха-яха! — вскрикнула девушка, взглянув на спину брата и разрыдалась, глядя Бадню по голове.

По спине Бадни, в беспорядке переплетались сизые и красные полосы. В нескольких местах кровоточили багровые шишки.

— Чего ревешь, дура? Ты же хотела этого.

— Я, я, ах-ах — не думала та-а-а-к! — всхлипывая, отвечала Эрвни.

— Пойди, принеси мокрое полотенце, — приказал ей Бадня.

Выбежавшая сестра привела встревоженную мать. Увидев исполосованную спину, Уланка обняла голову сына и тихо залилась слезой.

— Несчастный зверь, разве можно так! — выругалась она по адресу мужа, мокрым полотенцем смачивая раны и кровоподтеки. — Да пусть язвой исчезнет та невеста. Чтобы за чужую девушку своего сына так истязать! Много хороших девушек на Дону, найдет мой сын и еще, — шептала Уланка, лаская сына.

Только теперь, под жалостью и ласкою нежной руки матери Бадня расстроился и уткнувшись лицом в подушку, по-детски заплакал от незаслуженной обиды.

С той поры в доме Цагаковых больше произносилось имя Зиндми.

**
*

В это лето цагаковский сад дал небывалый урожай. Базары Чепрака, Ново-Орловки, Мартыновки и ближайших хуторов были завалены цагаковскими яблоками — ровными, крупными, сочными и сладкими.

Был хороший августовский день — тихий, с легкой жарой. На бричке, до верху наполненной душистыми яблоками и запряженной парой рослых и поджарых жеребцов, ехал Бадня в Мартыновку, чтобы доставить лавочнику очередной заказ.

Предоставив жеребцам шагать по своей воле, Бадня перебирал в думах события его жизни за последние

семь месяцев, со дня февральской революции в России. Время это оказалось полным крупных неудач для Бадни: народ не разделял его восторгов по случаю революции; агитационная поездка его по калмыцким станциям кончилась неудачей; его идея объединить всех калмыков, при попытке практического осуществления, наткнулась на большой разброд мыслей на первом же съезде; самая сокровенная его мечта — заложить калмыцкий периодический печатный орган — разбилась на вопросе о шрифте; самый съезд, на который он не ехал, а летел, что называется «на крыльях мысли», принес ему личное несчастье — потерю любимой девушки; наконец, за свое право на свободу выбора себе друга жизни, он подвергся жестокому наказанию со стороны отца.

Но уроки эти не прошли даром. Из шумного и порывистого парня он стал задумчивым, серьезным молодым человеком. Его моральная победа над домашними в вопросе о невесте подняла его вес в доме. И отец и мать увидели, что сын их — взрослый, волевой человек, которого не заставишь арапником сделать то, чего он не желает. С этого лета он стал фактическим хозяином дома.

Сдав яблоки заказчику, получив деньги и сделав кое-какие закупки, на обратном пути Бадня заехал на почту, чтобы забрать корреспонденцию на свой хутор. Среди нескольких писем с фронта, газет и журналов, оказалось одно письмо в длинном серо-зеленом конверте, на имя Бадни.

Он сразу угадал почерк Цецени. Выехав из слободы и пустив жеребцов по прямой дороге, он распечатал письмо.

«Дорогой друг Бадня! Привет тебе с берегов Куберле. Пишу это письмо, чтобы поделиться с тобой моими устоявшимися впечатлениями от нашего знаменитого съезда в Башанте, чтобы обменяться послесъездовскими моими думами и мыслями, а также хочу выразить мое дружеское соболезнование и сочувствие по поводу событий в твоей личной жизни. Начну именно с этого:

мне жаль мою подругу Зиндму, ставшую жертвой своего легкомыслия, но еще больше мне жаль тебя, оскорбленного в своей гордости, в чувстве достоинства, а больше всего жаль твоего разбитого сердца. Откровенно говоря, правда на твоей стороне, потому что поведение наших девиц на съезде, особенно Зиндми, заслуживало упрека. Девочки наши расшалились на свободе и от лъстивых поклонений. А Зиндмю должна была помнить, что при ней — жених. Я слышала, что на твои уместные упреки в Торговой, вместо признания своей вины, раскаяния и просьбы о прощении, она надерзила тебе. Я не узнаю на этот раз мою подругу Зиндму — она всегда была мягкосердечной девушкой. Думаю, что ее увлечение Усутовым вызвало в ее душе какие-то новые процессы. Ее поведение было недостойным. Я не за домострой, не за архаические устои, но нужно же и свободе знать меру. Жених, по конкретному случаю, может сделать замечание и внушение своей невесте. Может! Вот почему, хотя Зиндмю и моя подруга, я ее решительно осуждаю. Она была виновата и вину не захотела признать. Среди нашей передовой молодежи идет большой спор на тему — кто виноват, Зиндмю или Бадню? Большинство обвиняет тебя, говоря, что Зиндмю ничего особенного не допустила, а ты поступил, как ревнивый старый муж. Но я уже некоторых отчитала. Защищая тебя на стороне, я сочла нужным оправдать тебя перед самим тобой. Я думаю, что с тех пор ты не раз задавал себе вопрос: прав ли ты был? Сообщаю тебе: ты прав.

Мне и раньше казалось, что твоя помолвка с Зиндмой была ошибкой. Слишком разный кругозор, разные понятия, разные интересы. Ведь, для того, чтобы человек счастливо и ладно прожил весь долгий жизненный путь, недостаточно исходить только из внешней красоты. Красота проходяща (никакая красавица не спасется от обрюзглости средних лет и безобразий старости!), она только кратковременный внешний покров, а жить, ведь, придется с человеком, выраженным его душой и сердцем.

Может быть, я ошибаюсь, но так я думала. Но раз вы были с Зиндой влюбленными голубями и находились в счастливом угаре, голос благоразумия был бы излишним. Теперь я это говорю потому, что мои мысли оправдались раньше, чем я думала. Но довольно об этом. Факт, сам по себе, не убийственный. Не унывай и не падай духом.

От съезда остался у меня горький осадок. Идею объединения мы с тобой, кажется, слишком просто представили. Идея объединения всем нравится, а как доходит дело до проведения в жизнь, каждый начинает решать по-своему, не считаясь с реальными условиями. Что нам, в таком случае, нужно делать? Бросить? Плюнуть?

Нет! Мы будем дело проводить без оглядки, своими силами, и так, как мы находим нужным. В таком деле согласия общего не дождемся. Палку в руки и в капра-лы! Советую тебе поскорее выбраться из Боглая и ехать в Новочеркасск. Там поговори с членами правительства и проси их помочь нам притянуть дербетов в Донское войско. Они поймут и, если будут сочувствовать, помогут и, при помощи Войскового Атамана, Круга и т. д. А мы найдем представителей дербетов, «выразителей» народного чаяния! Все чепуха!

Как курьез сообщают: в нашей станице наша темнота толкует. — Наши образованные девицы как потеряли надежду среди бузавов найти женихов, так поехали к дербетам. Но там не всех взяли, из одиннадцати только трех. А на нашу безобразную Цеценю так никто и не посмотрел! А о нашей идее, о нашем священном горении никто ни полслова! Так реагирует масса на идеи. Пушкин был прав, когда восклицал:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?

Итак, пиши, дорогой товарищ-соратник, наш молодой Демосфен. В эти бурные дни нельзя таким как ты, си-

деть в глуши и тиши Боглая и собирать по утрам упавшие за ночь яблоки, чем занимаюсь в эти дни и я. Эх! как часто приходится мне жалеть, что «Бог послал меня на землю» девушкой. Много мыслей и желаний, но на мне цепь бесправной половины человечества: я — женщина. Мой лучший удел — быть возле кого-то и помогать . . . шить, варить, стирать и т. д. Брр!

Искренне уважающая тебя Цеценя Кермекова.»

Чудодейственным средством явилось для Бадни письмо Цецени, которое он несколько раз перечитал по дороге и все больше восхищался его автором, и все большая радость вливалась в его душу.

«Так вот где та, которая меня понимает, душа которой поет в унисон с моей, кто меня ценит, кто чутка к правде и честности! Умная и милая Цеценя, неугасимая лампадка божья светит из твоих глаз; приплюснут твой носик, но светлая головка твоя создает прекрасные мысли и сердце чуткое у тебя. Вот кто может быть моей достойной подругой жизни. Не шить, не стирать, а рука об руку мы будем работать на пользу нашего народа! Народ темен, нас не понимает! Не беда, потому-то и нужно работать, чтобы он стал культурным! Не будем работать над его судьбой мы, передовые — вечно он будет темен» — так востороженно думал Бадня, под грохот старой брички, под мерные шаги пары вороных.

В тот-же вечер он писал Цецене:

«Славный друг Цеценя!

*«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился» . . .*

Этими несколькими чудными строками Пушкина можно только и ответить на твое милое письмо, которое светлым, теплым солнечным лучом блеснуло по самой мрачной и темной полосе моей жизни.

Большое тебе спасибо. Скажу коротко, так как уже очень поздно (поздно приехал с продажи яблок!). Жизнь потеряла бы для меня почти свою прелесть, если бы на свете, наряду с иными, не было таких девушек, как ты, Цеценя!

Думаю и вижу, что наша совместная работа для пользы народа необходима. Не унываю, что чернь не понимает нас и неблагодарна. Она всегда и у всех народов была такова. А работать интеллигенции надо. Но, признаюсь, что без тебя рядом — я многое упустил бы, как и ты без меня. Мы с тобою, похоже, взаимно друг друга заряжаем, дополняем, гармонизируем. Я это чувствовал давно, а особенно в этом уверился из наших совместных выступлений на съезде. Чтобы я там делал без тебя!

Но в это сознание с недавних пор вторглось и другое чувство: я стал ценить тебя не только как товарища по общественной работе, но и как лучшую девушку. Не говори мне о красоте или наоборот! Ты — типичная монголка, у тебя монгольская красота, а я монгол, черт возьми! С Зиндой я, было, сделал роковую ошибку. Ее поведение на съезде и наше объяснение раскрыли мне глаза, и ныне свободен от той ошибки. Теперь я обращаюсь к тебе, стоя перед тобой на коленях, с мольбой: прими мое сердце, прими протянутую к тебе руку и будь моей возлюбленной невестой. Я люблю тебя, уважаю, ценю, преклоняюсь. Если мы станем женихом и невестой, наша совместная работа выиграет, и никто по твоему адресу не может злословить. Посылаю это письмо со специальным наемным парнем. Дай мне ответ с ним же, в тот же час, ибо он должен вернуться ночью же, до возвращения его матери из Батлаевской. Много не пиши, а только «да» или «нет». Только получив от тебя ответ, я могу думать и говорить по остальным деловым вопросам, затронутым в твоём письме.

В тревожном и томительном ожидании пребывающий, любящий тебя Бадня Цагаков.»

С большой неохотой, только по настойчивой просьбе сына, поехал Пурве Цагаков в станицу Кевюдов, чтобы официально посватать за Бадню дочь вдовы Кермековой. После того, как Бадня потерял Зиндму, Пурве так-то потерял интерес к женитьбе сына и скептически относился ко вкусу Бадни.

Солнце уже клонилось к западу, когда Пурве приехал в Кевюдов и, ориентируясь по указаниям сына, никого не спрашивая, подъезжал к двору Цецени.

Когда он подъехал к воротам, навстречу ему вышла со двора маленькая ростом, некрасивая девушка, в чистом голубом бешмете, с непокрытой головой, с роскошными черными волосами, покрывавшими всю спину.

Девушка остановилась, давая ему дорогу, и приветливо и полувопросительно взглянула на Пурве.

— Здорово, дочка! Это-ли двор Кермековой?! — обычно громко спросил Пурве.

— Да, этот.

— А ты чья такая, как тебя зовут, дочка?

— Цеценя.

Пурве Цагаков чуть было не выругался вслух. Наслушавшись от Бадни восторженных похвал, старик не ожидал, что новая невеста его сына так невзрачна. Он почему-то ожидал увидеть завидную хорошую девицу. Но внешность Цецени ошарашила его.

Мгновенно созрело в голове Пурве решение — ни за что не помогать сыну жениться на этой девушке, будь она хоть трижды умна и учена. «Весь мой род испортит!» — решил он.

— Еду издалека. Сын мой, Бадня, говорил мне, чтобы я мимоездом завернул к вам и справился о вашем с матерью благополучии. Так, как поживаете? В здороби-ли, в благополучии ли живете? Я уж не буду слезать, хочу сегодня до дому добратся, — заговорил Пурве.

— Нет, заезжайте, отец, во двор, дайте отдохнуть коню и сами чаю напейтесь, мама дома, будет рада с

вами познакомиться. Бадня у нас весною был, — смутившись, отвечала Цеценя, а сама подумала: «Еще ломается старик, будто проездом! Это меня, чтобы лучше рассмотреть. А в торочинах дялинг и в нем бутылка и узелок заметны».

— Да отдохнуть мне хочется, — ответил Пурве, въезжая во двор.

Отдав коня работнику и приказав ему не расседлывать и не развязывать торочины, Пурве вошел в дом и познакомился с хозяйкой. Считая свое присутствие неудобным, Цеценя пошла к соседям, предоставив матери самой вести разговор со сватом. Предупрежденная дочерью, мать с нетерпением ждала, когда Пурве приступит к делу и удивилась, не видя традиционной при сватовстве бутылки водки и узелка конфет и пряников. Но старик и до чая и за чаем и после до самых сумерек болтал всякую чепуху — вспоминал старые годы, рассказывал новости, хвастался своим садом, урожаем, а о деле не заикался, не заговаривал.

В сумерках он встал, поблагодарил хозяйку, попрощался и, не глядя на ночь, выехал домой, к большому недоумению хозяйки и ее дочери.

Ночью он приехал на свой коровий кош в Семьевой балке, между Кевюдами и Боглаем и, пустив стреноженного рыжего «Бюргеда» пастись, заночевал в будке своего пастуха.

На другой день, отдав коня кучеру Павло, Пурве вошел в свой дом. Раздираемая любопытством Уланка вбежала за ним.

— Ну, какова? Эрвни наша просто отмахивается руками, говорит: такая дурная, что трудно сыскать!

Пурве молча скинул бешмет, швырнул его на постель, фуражку кинул на дальний стул, стянул сапоги, надел на босу ногу черевики, а потом уже стал перед женой и со злобой отвечать, сопровождая свои слова выразительными жестами.

— Ростом — вот (провел рукою ниже своего пояса), носа нет, а только две маленькие дырочки на кончике небольшой возвышенности, глаза — чуть прорезаны.

Смотреть не на что! Болван мой сын, а я думал он — умник! Да отсохнут и отвалятся мои руки, если я пове-зу к ним раку! — воскликнул Пурве.

— К-а-а-к! Вы не внесли раку? — удивленно спросила Уланка.

— Пойди возьми у Павло раку и узелок. Водку сам выпью, а конфеты отдай Эрвни, — отвечал Пурве.

Уланка изменилась в лице. Она поняла, что между отцом и сыном пойдут большие нелады. Она уже готова была согласиться на какую-угодно невестку, лишь бы в доме царил лад и мир.

Вечером, когда семья сошлась за ужином, Пурве спокойно и тоном не допускающим возражения, сказал сыну:

— Послушай-ка, Бадня. Был я у твоей невесты и видел ее. Чего я буду много говорить? Мешать тебе жениться на ней не могу. Но и помогать не стану. Я даже первое официальное сватовство не провел. Делай сам, как хочешь. Народ вы ученый. У вас свои законы. Женись каким-угодно способом, а меня от вмешательства освободи. Я тебе дам твою долю хозяйства, заведи свой дом, а я ее, как невесту, в мой дом, публично и с церемониями не возьму. Это — мое последнее слово.

— Воля ваша, папа, а от невесты своей я не откажусь. Мы с нею будем учиться в университете, а по окончании поженимся и ни в чьей помощи нуждаться не будем, — бледнея и волнуясь, но решительно ответил Бадня отцу.

— Никто и не говорит, чтобы ты отказывался. Это ты хорошо придумал. Так и сделайте — учитесь, кончите большую науку, там, в городе, поженитесь, подалее от моих глаз, да и живете там.

На этом разговор кончился. Отец и сын молча разошлись по своим комнатам. С того дня о невесте Бадни в доме Цагакова говорить перестали.

Бадня написал Цецене несколько больших объяснительных писем, в которых подробно осветил обстановку и предложил свой план женитьбы. Цеценя согласилась, и они стали считать себя женихом и невестой.

Ползучими и смутными слухами докатилась до калмыцких степей весть об октябрьской революции. Неизвестно откуда появилось слово — «большевик», никто толком не знал, что оно означает.

Одни говорили, что пришла власть которая хочет всю землю, все леса и всякое добро в государстве раздать мужикам и рабочим, разграбить всех богатых людей в пользу бедняков. Другие говорили, что это выпущенные из тюрем разбойники, воры и убийцы организовали большую армию, забрали в арсенале винтовки, пулеметы, пушки, выгнали сидевшую во дворце шайку болтливых бездельников — адвокатов и заняли царский трон и дворец и теперь хотят разграбить всю Россию, народы, живущие в ней. Боглаевцы больше поверили последним толкам, потому что как раз в эти дни неожиданно-негаданно вернулся из Сибири сын Цебека Ошкинова, который пятнадцать лет тому назад, за убийство в Семейской балке русского шабоя, был отправлен на каторгу. Приехав в свою станицу, каторжанин Ошкинов нахально потребовал от станичного общества стоимость его распашного и сенокосного пая с урожаем за пятнадцать лет. Такое неслыханное требование и его угрозы, что он найдет расправу для общества, окончательно убедили боглаевцев, что в Москве засели такие же каторжане, как Ошкинов. «Это непременно товарищи нашего Ошкинова там взяли власть! Их же в Сибири были тысячи! Теперь все вырвались на свободу, захватили оружие. Кончилась теперь мирная жизнь, разбой будет гулять по стране!» — с ужасом шептали старики.

«Пришла настоящая народная власть. Бедным людям будет хорошо. Нам нечего бояться этой власти. Начинается хорошая жизнь!» — отвечали старикам фронтовики.

В мирных калмыцких станицах начинался разлад. Все чаще стали собираться по калмыцким землянкам десятки мужчин и все дольше в синем дыму трубок

тянулись споры о качествах власти. «Сортировать законы» — назывались эти споры.

Наконец дошли сюда слухи, что Донской Атаман не признает этой новой российской власти и что он, во главе юнкеров, разбил под Ростовом десять тысяч большевиков и потопил их в Дону. Кипел и бурлил в спорах хутор, но все ждали официального сообщения из донского центра, и мир не нарушался.

Получили, наконец, и бумагу из Войскового штаба. В ней черным по белому было напечатано, что Донской Войсковой Круг, Атаман и Правительство не признают Московской власти и берут всю власть в области в свои руки. О большевиках ясно было сказано, что это — бандиты, грабители. В конце Атаман призывал казаков защитить Дон от большевиков, идущих грабить казачий край.

Помощник станичного атамана, расторопный вахмистр Сасыков, послал по хуторам экстренное извещение, чтобы все взрослые мужчины приехали на сбор всей станицы для оглашения воззвания от Донского Атамана и обсуждения его, а по станице послал верхового сидельца, который объезжал всех и звал придти на всестаничный сбор через три дня.

Много раз внимательно перечитывал атаманское воззвание вахмистр Сасыков и все больше удивлялся:

«Странные времена настали. Старая власть не упрашивала и не приглашала идти на войну, а присылала точный и понятный приказ, и я знал, что надо делать. А тут — бумага от Войскового Атамана, как будто без разговоров надо исполнить, а по содержанию оной выходит, что можно и не исполнить! Какой же дурак по вежливой просьбе на войну пойдет, это же тебе не свадьба», — думал старый служака.

На сбор привалила вся станица, сотни мужчин приехали из дальних и близких хуторов. Всем было интересно в такое сумбурное время услышать голос Войскового Атамана, каждому хотелось лично побывать на сборе и собственными ушами послушать, что говорит Атаман о новой власти и новых порядках. Собралось

около пятисот человек. Так как станичное правление не могло бы вместить и сотни людей, то сбор решили провести во дворе. Благо, несмотря на ноябрь, день был теплый.

Даже неопытному глазу сразу было видно, что состав сбора наглядно делится на две группы — на фронтовиков, бывших участников Великой войны, в серых шинелях, в серых папахах, но уже без погон и военной опрятности, и на стариков, в белых нагольных шубах, в черных поддевах, кафтанах, в черных курпечковых или смушковых шапках.

Разбившись на многочисленные группы, вольно гудел и шумел сбор. Сасыков энергично и шумно распоряжался сидельцами, которые выносили на двор стол, стулья, все скамейки.

В это время к станичному правлению подкатила усталая тройка и с тачанки, прихрамывая на затекших ногах, слез рыжелищый, высокий, седоголовый калмык лет за пятьдесят. Это был станичный атаман Басан Алексеевич Тепшинов.

— Ну, как дела, Сасыков? — обратился он к своему помощнику в ответ на его приветствие с приездом.

— Да вот станичный сбор созвал, чтобы прочитать воззвание Войскового Атамана и обсудить. С фронтовиками беда — плохо настроены. Хорошо, что сами как раз приехали, — отвечал Сасыков.

— Ну, выйди, собери народ в круг, водвори тишину, а я сейчас согреюсь и выйду, — скороговоркой приказал атаман, сбрасывая с плеч мохнатую бурку и присаживаясь к печке.

Басан Алексеевич Тепшинов был сильно обрусевший калмык, много лет сызмальства проживший за Доном в казачьей станице, а потом, по окончанию городского училища, много лет прослуживший переводчиком для калмыков при окружном суде.

Поэтому он редко говорил по-калмыцки, стесняясь акцента. Прибыв бедным и бездомным чиновником в свою станицу, он стал станичным атаманом, и вот уже

двенадцать лет подряд все конкуренты ничего с ним не могли сделать: каждый раз при новых выборах он оказывался на первом или втором месте, а окружной атаман Сальского округа считал Тепшинова самым лучшим атаманом и всегда утверждал его. Ныне он был самый богатый человек в станице. На краю станицы зеленел большой деревянный дом. Двор его раскинулся на два квартала, а третий квартал занимал сад. Сотня коров, тысячная отара овец, сотни десятин хлеба, прекрасная дача в Кисловодске, сторублевое месячное жалование — вот каково было положение бокшурганского станичного атамана.

Коллежский ассесор, золотая шпага с надписью — подарок станичного общества, всюду обширные связи увеличивали его вес и влияние на общественные дела. Вторым браком он был женат на молодой учительнице, а от первой жены имел дочь гимназистку, красавицу Наташу, сына Санжу, лихого кадеты.

С открытием Донского Войскового Круга он был избран от своей станицы депутатом. Сейчас он спешно прилетел в станицу, чтобы сбор в его отсутствии не вынес какого-либо конфузного решения. Ему нужно было повезти на Круг хорошее постановление от своей станицы.

За послереволюционные месяцы он быстро научился вести сборы в новом духе. Выйдя на круг, он выразительно и громко прочитал сбору воззвание Войскового атамана, Круга и Донского правительства, а потом сам дал информацию о положении в области в связи с захватом центральной российской власти большевиками, не пожалел темных красок для характеристики последних.

После этого он предложил желающим высказываться по существу вопроса — как отнестись к большевистской власти и к возванию Войскового Атамана.

После некоторого напряженного молчания, слово попросил старик-боглаевец Бадьма. Это был известный в станице богомол, постник, человек уже много лет назад отрекшийся от хозяйственных дел, отдавший ре-

лигии, хранитель старинных традиций, большой знаток буддийской старинной литературы, усердный распространитель монгольской и тибетской грамотности среди жителей своего хутора. Особенно мастерски он умел толковать туманные, двусмысленные предсказания тибетских лам-отшельников.

Крупного роста, от частых и продолжительных сидений за молитвами и от коровьего масла, крепкого калмыцкого чая и хлеба изрядно пополневший, всегда чисто и опрятно одетый в черный шерстяной бешмет, туго подпоясанный голубым кушаком, с гладко причесанными назад седьми волосами, всегда серьезный, он производил на всех хорошее впечатление и пользовался почтительным отношением всей станицы, начиная от Ламы и кончая последним молодым парнем.

— *Старшие и младшие братья мои, все лучшие мужи станицы Бокшурганской. Я не читаю русских газет и книг, еще менее прислушиваюсь к ветрам разносимым слухам, но все-таки замечаю, что происходит в стране богатыря — белого царя. Чувствую, что настает такое время, когда нельзя молчать тем, кто зоркий глаз, чуткое сердце и острый слух имеет. По этой причине я и приехал из хутора на этот мирской сбор и хочу сказать вам как я понимаю творящиеся вокруг нас дела, хочу посоветоваться с вами обо всем касающемся вопроса, — начал старик Бадьма при гробовом молчании всего собрания, на чистом калмыцком языке, чуть-чуть книжном, старинном и витиеватом. — На священном троне белых царей-богатырей, в свое время утвержденных наследниками самого Суту-Богдо-Чингис-хана, по печальному стечению плохих дел, не стало законного хозяина страны, — продолжал он.*

— Туда ему и дорога! — крикнул вдруг молодой фронтовик в облезлой серой шапке, ударяя по голенищу давно нечищенного сапога тонкой белой хворостинкой. Старики, составлявшие половину сбора, при этом выкрике так негодуяще и дружно взглянули на него сотнями укоризненных глаз, что фронтовик смутился, на полуслове замолчал и незаметно пятясь, скрылся в

задних рядах. Не смущаясь выходкой молодого человека, Бадьма спокойно продолжал:

— По этой причине, каждый ученый лезет, чтобы занять место на царском престоле. Он, конечно, сядет под другим каким-нибудь именем, но «название сути не меняет» — гласит наша пословица. А этих ученых, в своих деяниях забывающих всех богов, все мирские и божеские законы, все хорошие поучения отцов, человеческую мораль, теперь много. И языки у них лживые как у дьявола, острые как у змеи. Вот они бьются теперь между собою, как собаки у безхозяйного корыта, полного мясом. Это было бы еще ничего, если бы они драться стали. Но беда в том, что они опьяняют словами и заставляют стучаться лбами темный народ. А так как в великой России темного народа много, то долго в стране будут продолжаться годы смуты. Эта смута уляжется только тогда, когда простой народ поймет, что какая бы власть ни пришла, а ему все одно нужно подчиняться и все одно нести повинность, а ученым надлежит править им, что напрасно народ будет друг другу ломать черепа и распарывать животы. Много сот лет назад сидел над русским народом один царь. Пошли великие смуты и пришел другой царь. Теперь этого скинули. Вчера сидел во дворце какой-то краснобай-адвокат, остриженный мальчиком и в грязной рубашке, чтобы солдатом казаться. Его прогнали и сели другие, говорят, еще хуже этого адвоката. Завтра еще какие-нибудь придут. Но никогда там не будет никого из темного народа. От смуты будет страдать только темный народ — терять удобу, посеvy, детей. Только страна, спокойно живущая, дает хорошую жизнь бедному народу. Так вот, братья мои и детки, чтобы нам не блуждать между этими борющимися вожаками, как сироты-барашки в тысячной отаре овец, лучше будет, если мы будем слушаться нашего выборного Донского Атамана, который лучше нас разберется в этой смуте и не пожелает своему казачеству худа. Если мы все начнем решать такие важные вопросы и каждый по-своему, то ничего не решим...

Еще в детстве я слышал, как Атаман Матвей Платов, умирая, сказал: «Между Доном и Москвой войны кровопролитной не избежать. На Раздорском красном яру произойдет главное сражение. Кровь человеческая будет течь там выше лошадиного копыта. Отец не угадает сына в том бою кровавом. Если донцы угадают своего вождя и пойдут дружно за ним, то победят». И видел я недавно примечательный сон: сижу, будто, в своей комнате, четки перебираю. Вдруг входит белолицый казачий генерал с белым крестом на шее и опускается на колени перед портретом Матвея Платова, что висит у меня в комнате. Я удивленно смотрю и вижу, как лицо на портрете озарилось светлой и кроткой улыбкой. Тут я проснулся. Наутро я рассказал трем умным старикам. Говорят, что сон не простой. Говорят также, что наш Войсковой Атаман светлиц и белый крест на шее носит. Я боюсь, что донцы, по наваждению злого духа, пропустят своего достойного водителя в это опасное время. А в такое время народ без достойного водителя, это все одно — овцы, заблудившиеся в буранной степи... Итак, драгоценные наши дети (он ясно обратился к фронтовикам), слушайте своего выборного Войскового Атамана и идите по его зову туда, куда он прикажет. Идите с молитвою Богу, и все будет хорошо.

Бадьма кончил свою речь. Сморкаясь в большой женский пестрый платок, он отошел и сел на скамейку. Его спокойно и сердечно сказанное слово призвело на все собрание сильное впечатление. Молчали даже фронтовики.

— Эх, горе-горе, плохие времена настают. Правду говорит Бадьма: нужно нам держаться всем за наших лучших людей, за законность и порядок. Маленький мы народ, а в бурю и волнении морском гибнут слабые и малые суда в первую очередь, — не вставая с места, проговорил со вздохом один старик.

— Товарищ атаман, прра-а-шу слова! раздался звонкий голос по-русски из среды фронтовиков.

— Слово принадлежит товарищу Сафонову, — поспешил объявить атаман, внутренне оскорбляясь словом «товарищ». Сбор напряженно затих. Среди стариков раздались тихие и горестные вздохи. Заря Сафонов — сын небогатой вдовы, бывший народный учитель, в свое время за непочтительный религиозный спор с Ламой лишенный учительского места и отправленный в Атаманский полк, на войну, вышедший урядником-вольноопределяющимся, в первые же месяцы войны награжденный двумя георгиевскими крестами и медалями, а потом ставший офицером ускоренного выпуска, был умным способным человеком. Перед революцией, за пьяный дебош с женской жертвой, в одном еврейском местечке, он из сотников был разжалован в рядовые, лишен всех орденов и опозорен на всю станицу. Рослый и плечистый, с выразительным красивым лицом, развитой и общительный с людьми, он стал главарем большевизанствующих фронтовиков в своей станице. Его выступления с нетерпением ожидали обе стороны: фронтовики, как своего вожака и защитника, а старики, как своего самого опасного противника, смутьяна умов.

— Товарищи! Вы слышали, что говорил старик Бадьма. Вы видели, как сочувственно отнеслись к его речи старики и вообще не фронтовики, — отчеканивая каждое слово, своим приятным и звенящим голосом заговорил Сафонов по-русски, в нужных местах делая пояснения по-калмыцки. — Хорошо нашим отцам говорить: «Слушайте атамана». А атаман зовет нас опять на войну. Мало того, что мы четыре года страдали и гибли в войне с немцами — так теперь нас зовут идти войною . . . против необъятной России. Старики ! — вы знаете, что такое большевики? Не знаете! Так мы, фронтовики, это знаем! Большевики, это — десятки миллионов вооруженных русских солдат, за которыми стоят еще десятки миллионов будущих солдат. Вот кто большевики. Это весь русский народ, который нас, с нашими казаками, одними вшами с головой может засыпать. Выгнанные из своих имений русские фабри-

канты, лишенные мест русские министры, разжалованные революцией русские генералы, разорившиеся капиталисты хотят вернуть свое положение и имущество нашими головами и нашей кровью. Товарищи! Я задам вам три вопроса и вы дайте мне тут же на них ответ: хотите ли вы идти лить кровь за интересы русской буржуазии?

— Нет!!! — раздался стоголосый ответ.

— Может ли горсточка калмыков и казаков победить то серое солдатское море, которое десятками тысяч разлилось по России на каждой станции, в каждом городе?

— Да куда там!!!

— Думает ли кто из вас, что новая власть отберет у нас наши землянки, наши десяток коров и наши казачьи пай, думает ли кто из нас, что мы такой богатый народ, что власть нас должна будет грабить?

— Нет!!! — как по команде, неся ответ из среды фронтовиков.

— Так вот из трех ответов ваших детей и исходите, отцы. Теперь внешней войны нет, когда нужно было защищать государственную территорию. Теперь начинается война внутри страны, идет класс на класс, богатые идут против бедных. Кому где интересно быть, тот туда сам пусть и идет. Я за свое положение не боюсь: мой домик, мой огород, два десятка деревьев, два десятка коров, пару маштачков, мои пятнадцать десятин земли большевики не тронут. Если, к примеру сказать, моему соседу Цагакову интересно защищать свой восьмидесятинный сад, так пусть он и идет. По моему, большевики никакого худа нам, ни казакам, ни калмыкам, не несут. Это — народная власть. Если она многих и убила в Москве, то на то была борьба. Тех же, кто не будет бороться, они убивать не должны. Я большевицкую программу знаю. Ничего плохого в ней нет. Будет плохо только крупным богачам. Причем, я напрасно упомянул имя нашего хуторца Цагакова, как богача. Какой там он богач! Богачи, это — Парамонов, Морозов, фабриканты, коннозаводчики, крупные поме-

щики в России. Речь идет о них, а наши хуторские богачи, это же нищие в сравнении с настоящими богачами. Вот такие настоящие богачи толкают нашего Войскового Атамана на войну против большевиков. Вы не забывайте, конечно, товарищи фронтовики, что большевицкая власть заключает с немцами мир. Если большевицкая власть падет, то нам опять придется на фронт выступить, а многим и за самовольную отлучку ответить, да за полковое имущество... Товарищи! Теперь свобода! Она нам дана, чтобы мы, измученные фронтовики, ею воспользовались, а не для того, чтобы мы шли на новую войну, затеянную дома офицерами и помещиками. Вдоволь мы покормили вшей за четыре года, много нас погибло, многие искалечены, у всех нас разорены хозяйства... Не к войне нам надо готовиться, а отдохнув, готовиться к весенней пахоте. А старики, если хотят, если им во сне снятся белые генералы, то пусть идут сами. Если сами не идут, то пусть и нас не посылают. По-калмыцки, это называется «чужою рукою змею держать». Мы, фронтовики, и сами не пойдем и других не посылаем!..

— Пра-а-авильно!!! Поддерживаем товарища Сафонова!!! — раздался гул голосов всех фронтовиков. — Правильно, Заря Басанович!.. Браво!.. Правильно! — продолжали несколько минут раздаваться выкрики.

— Да здравствует мирный труд! — воскликнул кто-то из рядов фронтовиков, и пошли трещать по собранию аплодисменты.

Фронтовики ликовали. Мрачно молчали старики. Станичный атаман растерянно оглядывал собрание, ожидая, чтобы кто-нибудь выступил против Сафонова, речь которого произвела на стариков удручающее впечатление и укрепила настроение фронтовиков. Он остановил взгляд на небольшой группе станичной интеллигенции, которая, держась особняком, о чем-то тихо переговаривалась.

Крутя коротенькие черные усы, стоял там маленького роста, стройный и симпатичный подъесаул Тепкин; рядом с ним, и ростом и лицом очень на него похожий,

хорунжий Урусов; тихо улыбался, малорослый, с приплюснутым носом и большим ртом на светлокожем широкоскулом лице, хорунжий Мусов; стоя перед ними, на-днях прибывшие из Новочеркасска участники Ростовских боев высокий смуглый и груболицый юнкер Ниминов и студент медицинского факультета Ростовского университета Бадня Цагаков, что-то тихо рассказывали.

Разбившийся на группы сбор гудел.

— Граждане, не желает ли еще кто высказаться? — громко спросил атаман, глядя на эту группу. Бадня поднял указательный палец.

— Тише граждане! Слово принадлежит студенту Цагакову!

Сбор затих. Появление и выступление Бадни Цагакова вызвало явный интерес. Старики помнили его восторг от революции и им любопытно было послушать, что он скажет теперь. Фронтовики слышали об участии его в боях против большевиков в студенческом батальоне, и им тоже было интересно выслушать, как это студенты, которые всегда боролись против царского режима, теперь борются против революции.

Бадня протиснулся вперед, к атаманскому столу, и откашлявшись, по привычке пожевал губами, обратился к сбору:

— Почтенные отцы и старшие братья! Для того, чтобы сделать безошибочный шаг на этом собрании, нам надо знать, что было до революции, что происходит сейчас и что предстоит завтра. Без ясного уяснения этого, мы будем только гадать на золе. Два предыдущих оратора сказали очень оригинальные и интересные слова, но не соблюли этих коренных условий. Я вам, отцы и братья, коротко и наглядно изображу, что было, как было, что делается сейчас и что предстоит. Опираясь на это, потом уже можете выносить угодное вам решение.

До революции Россия представляла собою весы, на одной чаше, которых было все богатство страны, а дру-

гая чаша была пуста. Это было ненормальное положение.

Февральская революция создала положение, когда обе чаши весов могли быть уравновешены. Это было хорошо, и революцию нужно было приветствовать. Вот что произошло.

Теперь же происходит нечто иное. Большевики, захватив власть в свои руки, разогнав собрание народных представителей, не уравнивают чаши на весах, а просто все богатство из одной полной чаши перекладывают в пустую. Таким образом, большевики создают такое же ненормальное положение, как и царская власть, только наоборот. Это значит, что при большевицкой власти только один слой народа будет пользоваться всеми правами и привилегиями. Разница будет только в том, что старая аристократия, старая буржуазия состояла, в большинстве, из людей ученых, культурных, интеллигентных, среди них было много хороших, честных и благородных людей, а новые господа, которых нам предлагают большевики, это — сплошь голодный, жадный, озлобленный темный люд, ничего не умеющий создавать, а только могущий грабить, ломать и жрать. Из интеллигенции за ними идут всякие неудачники в жизни, всякие беспринципные люди.

Вот что, отцы и братья, происходит в стране.

Теперь послушайте, что предстоит в дальнейшем: товарищ Сафонов говорил, что он читал большевицкую программу, и ничего там опасного и нехорошего будто бы нет. Он ни слова не сказал о том, что большевики несут нам коммунистический строй, коммунизм!.. Вы отцы, знаете, что это такое?

— А кто же его знает? — раздался голос.

— Это такой государственный строй, когда у человека не бывает ничего собственного, а все общее — в одну кучу хутор: сгонят скот, птиц, лошадей, в общий амбар ссыпят зерно, а все люди хутора будут как бы работниками в этом общем хозяйстве, за свою работу они будут получать самое необходимое — хлеб и одеж-

ду. А деньги будут общие, излишки будет забирать государство в казну...

— Вот это так! Да будь ты проклята, такая жизнь! — воскликнул один старик.

— Но это еще не все. Послушайте дальше: не будет и семей! Дети будут общие, неизвестно от кого!.. Женщины будут общие как матки в табуне. В субботу и воскресенье мужчина будет брать квитанцию в канцелярии на очередную женщину и будет ходить на ночь, т.е. точно так, как в коннозаводстве на ночь пускают в баз жеребца на ворковую случку...

Гул смеха прокатился по сбору. Вынув трубки из ртов, схватившись руками за животы, тряслись в смехе старики. Весело ржали и фронтовики.

— Ну и сынок ты!.. Неужели это правда?.. Ты не шутишь? — спросил ближайший старик у Бадни.

— Ложь! Клевета буржуя! — зазвенел голос Зари Сафонова, покрывая гул голосов.

— Ага! Товарищ Сафонов говорит, что это ложь. Так извольте выслушать одно место из коммунистического манифеста!

С этими словами Бадня вытянул из кармана маленькую брошюрку в серой обложке с красными разводами и громко прочитал то место из манифеста, где говорится об обобществлении женщин. Сафонов густо покраснел. Сбор угрюмо смолк.

— Так вот я вам сказал коротко о том, что нас ожидает, если укрепитя над нами большевицкая власть. Из этих указанных мною моментов уже можете исходить при решении двух вопросов, предложенных атаманом на решение сбора. Теперь я хочу сказать пару слов в ответ Сафонову. Он пугал, что многомиллионная солдатская масса засыпет нас вшами и что казачество не может воевать с большевиками. Солдатская масса, действительно, многомиллионная. Но это — неорганизованное стадо. Эти миллионы можно бы и сейчас еще разогнать одной хорошей дивизией. Под Ростовом большевиков было одиннадцать тысяч, но их разбили, разогнали и в Дону потопили три-четыре сотни юнкеров, ка-

детов и студентов. Количество не всегда означает силу. Не забывайте, монгольский народ, не насчитывая и миллиона душ, много веков держал в своей власти десятки миллионов людей и в боях разбивал силы, во много раз превосходящие его числом. Верно, что Россию казачество не покорит. Но у нас достаточно силы, чтобы защитить свою землю от нашествия большевизанствующей массы. Если казачество ближайших войск объединится и дружно станет защищать свои границы, то большевики сейчас даже и не полезут...

— Да что вы! Собственное казачье государство хотите заложить, что-ли?! — воскликнул Сафонов.

— А почему бы и нет! — ответил ему из рядов юнкер Ниминов.

— Если наши фронтовики будут ожидать добра от большевиков и допустят их на свою землю, то не заплачутся потом. Коммунизм несет народам гибель и нищету! — закончил Бадня.

Одобрительно зашумели старики, раздались аплодисменты и среди фронтовиков, а в группе, к которой вернулся Бадня, хлопали его по плечу, ему жали руку, атаман понял, что речь Бадни внесла в настроение сбора большой перелом. Но этот перелом был совсем не в пользу того, что думал провести атаман. Ему нужно было постановление о доверии и поддержке Войскового Атамана. А Бадня выдвигал какую-то новую идею, об организации защиты только казачьих границ, о чем в Новочеркасске не говорили.

После речи Бадни стали выступать другие ораторы и все они распадались на сторонников то Бадмы, то Сафонова, то Бадни. Так как прения затянулись, а время было далеко за обед, то из задних рядов люди начали расходиться.

Видя это, атаман сам написал нужное ему постановление сбора и, дождавшись ухода значительной части фронтовиков и вообще молодежи, попросил ближайших стариков, сорок-пятьдесят человек, подписаться под ним. Послушные старики, по привычке, по приказанию старого атамана, быстро покрыли лист каракулями.

К заходу солнца двор станичного правления был уже пуст.

Атаман повез в Новочеркасск хорошо написанное постановление станичного сбора о «всемерной поддержке Войскового Атамана, о выражении ему полного доверия». А раздоры пошли шириться и углубляться по станицам и хуторам.

**
*

Хутор Богла был самым многолюдным, богатым и культурным хутором на юрте своей станицы. Много лет здесь находилось станичное правление, и хутор был центром станицы. Поэтому здесь была и сильная группа интеллигенции, которая и разбила население на политические группировки и будоражила умы. После общего станичного сбора самые острые споры и раздоры разгулялись по Богла.

Фронтовики все еще держались за Сафонова и его ближайших друзей — большевиков. Пожилые, допризывная молодежь и женщины поддерживали Бадню и его группу интеллигенции из офицеров и учителей.

Лютыми врагами стали Сафонов и Бадня Цагаков.

Борьба в Богла шла с переменным успехом. В первое время силы были почти равны, и споры шли свободные и страстные. Но фронтовики подняли голову и приумолкли их противники, когда пришла весть, что Войсковой Атаман Каледин застрелился, правительство разбежалось и большевики заняли Новочеркасск.

Потом приумолк Сафонов с товарищами и возликовал Бадня, когда стало известно, что к Сальскому округу приближается отряд Походного Атамана генерала Попова.

Боглаевские большевики заперлись по землянкам и перестали показываться на людях, когда стало известно, что Походный Атаман разбил большевиков у Казенного моста, занял станицу Ики-Бурульскую и окружающую станицу.

Когда из отряда Походного Атамана прискакал в свою родную станицу Бокшурганскую известный полковник Мангатов, там сразу же добровольно сформировались три большие сотни.

Но не долго длилось ликование. Поехавший в штаб за инструкциями полковник Мангатов не вернулся. Через три дня стало известно, что Чепраки вновь заняты большевиками и что Мангатов погиб, наехав ночью на большевицкую заставу, а Походный Атаман ушел с отрядом в неизвестном направлении. Боглаевцам, записавшимся в мангатовские сотни, пришлось расходиться, уничтожив список.

Сафонов поехал в Чепрак и через несколько дней вернулся с полномочиями от большевицкого Окружного Исполнительного Комитета на организацию в станице Бокшурганской советской власти.

В первую же ночь по приезде он с десятком вооруженных фронтовиков, арестовал и посадил в станичную тюрьму Бадню Цагакова, как главаря местных «контрреволюционеров». Потом он спешно созвал в Богла съезд фронтовиков станицы, огласил на нем свои полномочия из центра и провел резолюцию о ликвидации в станице атаманской власти и организации станичного Исполнительного Комитета.

Председателем этого комитета, разумеется, был избран сам Сафонов.

Устрашенные решительными действиями Сафонова и общим торжеством большевиков в округе, станичный атаман и все члены правления без ропота сдали новой власти все общественные дела, деньги и имущество. Деньги, архив и вообще канцелярию Сафонов распорядился перевезти из станицы в Богла, где и организовал центр юрта станицы Бокшурганской.

Так установилась в станице советская власть, получившая у местных калмыков наименование — «сафоновской власти».

Противники большевиков притихли. Наиболее активная группа из офицеров, после ареста Бадни, стала стараться, чтобы выручить его, не допустить отправки

в Чепраки. После неоднократных встреч с Сафоновым и доводов, что выдача Бадни Цагакова большевикам может повести к взаимным убийствам на хуторе, в конце-концов это удалось, и через две недели Бадня был освобожден.

Итак, смена власти по сути произошла без крупных событий. Казалось, что новая власть установилась и принята народом покорно. Стихли острые споры, мирно стали протекать станичные и хуторские сборы. Именинниками ходили фронтовики, чувствуя себя участниками организации в стране новой, хорошей народной власти. Но не долго длился этот мирный период.

Начали по округу рыскать многочисленные шайки вооруженных большевиков, которые стали творить по калмыцким хуторам и станицам невиданные и неслыханные бесчинства. Затрещали повсюду ломаемые двери и сундуки, поднялся стон насилуемых женщин, пошли расстрелы мужчин. В некоторых станицах между калмыками и большевиками произошли кровавые столкновения со взаимной резней. Вместо справедливого расследования и попыток умиротворить округ, центральная окружная власть усилила и участила разъезды, давая им специальную задачу — «вишибать у колмиків кодецький дух». Разбой самый дикий, грабежи самые открытые, безнаказанные убийства широкой волной разлились по калмыцким селениям...

Энергичный и смелый Сафонов, как известный большевик не только в своей станице, но и за пределами ее, в первое время успешно защищал свой хутор. Он законными путями удовлетворял требования разных начальников отрядов о поставке фуража, коней, оружия и продовольствия. Но вот один начальник отряда — зажиточный мужик села Ковринова на юрте Бокшурганской, пригрозил Сафонову как «скрытому контрреволюционеру» револьвером и пустил своих солдат по хутору «искать оружие». И много добра понаграбили эти красные кудеяры! Семь женщин были изнасилованы и обещены в тот день, двое мужей было убито за защиту чести своих очагов.

Фронтовики увидели, что они оказались сторонниками невиданных разбойников и босяков — «товарищей каторжанина Ошкинова», как называли большевиков калмыки. Чувство радости по поводу прихода советской власти у них быстро стало заменяться чувством стыда, раскаяния и даже страха. Заскрежетали боглаевцы зубами от злости и ненависти к большевикам, но было уже поздно. Весь округ был наводнен красноармейскими отрядами, калмыцкие хутора и станицы ограблены, а сами калмыки оказались под постоянным наблюдением власти. Местные калмыцкие большевики, с виновато потупленными глазами стали избегать встреч со своими соседями, чувствуя себя виноватыми в создавшемся положении.

Жуткое время настало в мирной, сытной калмыцкой степи.

В те дни высоко поднялся в Богла авторитет студента Бадни Цагакова, который, по словам боглаевцев, «все предвидел и все правильно предсказал, но погубил проклятый безбожник Сафонов». Для настроения и решения массы не требуется объективного анализа явлений. Масса поддается впечатлениям от ближайших фактов, не вдаваясь в их причины. Боглаевцам казалось, что послушайся все Бадню Цагакова и не поддержи фронтовика Сафонова, то и большевицкой власти не было бы в округе.

По выходе из станичной тюрьмы Бадня приступил к организации в хуторе подпольной «боевой группы» для борьбы с местными большевиками.

— Перемена будет и власть эта падет, мы не должны живыми выпустить главарей наших большевиков, — говорил он, обходя темными ночами местных офицеров и надежных молодых парней. Хотя ни сам Бадня и никто другой не знал — как и чем они будут бороться против большевиков, но, поддаваясь его активности, ядро «боевой группы» создалось. В качестве «связного» привлекли Эрвни. Никем не подозреваемая, Эрвни, когда было нужно, спокойно обходила людей из «боевой группы», передавала новости, распоряжения.

Время от времени, она устраивала вечеринки, и собравшиеся члены этой группы, под веселые песни и танцы молодежи, спокойно обсуждали свои дела.

Обстановка показала, что «боевая группа» должна быть в курсе всех дел, намеченных на заседаниях местного большевицкого комитета. Задача эта с успехом выполнялась, а самыми лучшими информаторами являлись члены семей самих большевиков.

К концу зимы большевики окрестных сел требовали включить от них в состав бокшурганского комитета четырех представителей и переименовать комитет в «Районный Исполнительный Комитет». Так как их требование поддерживал специально прибывший красноармейский взвод, то боглаевцам ничего не оставалось, как приветствовать соседей. С тех пор все дела в комитете стали решаться пришлым элементом, а калмыки на станичных сборах перестали откровенно разговаривать.

«Боевая группа» на очередной вечеринке решила избавиться от пришлых комитетчиков. В течение трех дней — неизвестные люди, с черными повязками на лицах и с револьверами и кинжалами, ловя порознь новых членов комитета, внушительно советовали им убираться из Боглая, если не хотят быть убитыми. На следующих сборах в местный комитет были избраны те лица, которые постоянно проживали в самом Боглае и считались с калмыками, как с хозяевами юрта.

Этот успех поднял престиж «боевой группы». Все знали, даже некоторые члены комитета, что Бадня возглавляет подпольщиков, знали и его товарищей, но никто и не думал выдавать их.

Узнав о намерении комитетчиков выдать большевикам скрывавшегося здесь помощника войскового атамана Митрофана Богаевского, Бадня сумел его во время предупредить. Тот с женой успел выехать из станицы еще до прихода красного отряда. Но неожиданно для всех сам Богаевский вернулся и в ту-же ночь добровольно сдался Голубову.

Весть о «боевой группе» дошла и до Окружного Исполкома, откуда последовало строжайшее предписание поймать и выслать в Чепрак всех лиц подозреваемых в соучастии в этой контрреволюционной организации.

Комитет, пользуясь прибытием в хутор отряда большевика-казака Голубова, решил произвести аресты основной группы. Бадне с товарищами пришлось ночью спешно выехать в степь.

Приход в округ большого отряда казака Голубова и расквартирование его недалеко от Богла — в станице Ики-Бурульской — еще более укрепило положение большевиков. Участились грабежи и убийства калмыков. Станица Ики-Бурульская, мужчины которой присоединились к отряду Походного Атамана Попова и ушли с ним, была наполовину вырезана местными большевиками еще до прихода отряда Голубова. Красноармейцы-голубовцы довершили резню стариков, женщин и детей. Только по отдаленным хуторам и по соседним станицам спасались Ики-Бурульские калмыки, на произвол красных бросив свои хозяйства.

Тяжелым и удушающим хомутом навязалась на шею калмыкам советская власть. Боглаевцы начали буквально задыхаться от большевицких бесчинств.

Между тем наступила весна. Калмыки не выехали даже на пахоту, так как выезжавшие в степь пахари неизменно подвергались нападениям грабителей, рыскавших по полям на лучших коннозаводческих конях в поисках жертв.

Но стало заметно боглаевцам, что большевицкие отряды, заполнившие станицы и хутора района Чепрака, как-то мечутся в одном кругу и не могут выйти за определенную черту. Калмыки догадались, что за этой чертой есть какие-то силы, которые на большевиков нажимают. Имя генерала Попова, ведущего партизан-степняков, опять стало предметом надежд и ожиданий. Слухи о приближающемся освобождении все-таки крепили. Народ не переставал ждать.

Бадне Цагакову с его товарищами, наконец, удалось выбраться из большевицкого окружения и направиться в станицу Константиновскую, где действовали отряды Походного Атамана.

В это время калмыцко-казачий полк в тысячу с лишним шашек, сформированный из мобилизованных большевиками казаков и калмыков, под командой прапорщика Сметанина занимал участок по Манычу против «белых». Настроение и командира полка и его бойцов, было антибольшевицкое. Сметанину удалось установить связь с «белыми», занимавшими позицию по ту сторону Маныча.

Однажды, в обеденное время, когда красные пехотинцы, побросав окопы, собрались в ближайшей к фронту балке вокруг возов и походных кухонь, казачий полк внезапно напал на них с фланга, отнял два орудия и открыв убийственный огонь, обратил целый фронт по Манычу в паническое бегство. Ожидавшие этого, части Походного Атамана немедленно форсировали реку, и в тот же день Чапрак был занят казаками.

С этого момента началось отступление большевиков из Сальского округа.

Одновременно с занятием Чепрака, части Походного Атамана повели наступление со стороны Константиновской в направлении станицы Бокшурганской.

Бадня Цагаков с нетерпением рвался в свою станицу, чтобы поскорее освободить собратьев из под власти большевиков. Фронт был еще за двадцать пять верст, когда Бадня, хорунжий Маркусов и остальные члены «боевой группы», пробрались ночью в станицу Бокшурганскую. Спешно созвав станичников, объявили советскую власть свергнутой и приказали всем мужчинам стать под оружие. Станичники, вооруженные чем попало, были на конях, и хорунжий Маркусов принял командование над сотней, назначив своих товарищей командирами взводов. Ранним утром, когда хутор Богла только просыпался, налетела с бугра маркусовская лава.

Когда арестованных членов Исполнительного Комитета привели в хуторское правление, Бадня не выдержал: выстрелом из револьвера он уложил на месте Зарю Сафонова. Остальные члены комитета и другие местные большевики — четыре калмыка и трое русских, после нужного количества плетей, были отправлены в станицу, а оттуда в село Золотаревку в распоряжение военно-полевого суда.

Вся станица села на коней и составила две большие сотни в отряде есаула Тюрина. Калмыки почувствовали себя так, словно после тяжелого сна в душной хате вышли на свежий воздух и вздохнули полной грудью. Началась героическая и жертвенная борьба калмыков за свободу человека, за свое право спокойно жить и мирно трудиться на родной земле.

Под гул орудий, в дыму кровавых боев рождалось в это время Донское государство. Уж шумел в Новочеркасске вольный Круг Донской; речистый Атаман генерал Краснов красным словом пьянил казаков; родной гимн и слава казачьих полков громким эхом разносились по станицам и хуторам донским; сине-желто-красный флаг, цветами — казачьим, калмыцким и крестьянским красуясь, бился на ветру степном. Изпод спуда веков возродилась казачья свобода, пробудила сердца казаков и повела их на победный бой.

В рядах Донской армии появились два калмыцких полка: 3-й, молодой, и Зюнгарский, из калмыков старших годов. Калмыцкий народ, за двухвековую совместную ладную жизнь с казаками «с одной чашкой и ложкой», как говорили калмыки, духовно сроднившийся с казаками, в черные дни казачества оказался верным и самоотверженным сыном края.

За свою верность и щедро проливаемую кровь в защите степных граней стали баловнем общей семьи калмыки на Дону...

ГЛАВА 10

Освобожденные бокшурганцы свободным и шумным сбором выбирали от станицы делегата на Большой Войсковой Круг (Парламент). Когда новый станичный атаман, молодой и смуглый щеголь Тута Ульнинов, сам рассчитывавший быть выбранным, предложил называть кандидатов в члены Круга, несколько стариков в один голос зашумели:

— Да того... сына Пурве, студента того. Бадню нужно послать!

— Подумайте, старики, не слишком ли молод он, ему, ведь, всего двадцать один год! — сказал атаман.

— То не причина! Он хоть и молод, а уж умен. С большевиками по совести он боролся, себя не щадил. А потом, видишь, учиться в Ростове высокой науке он должен, так и в Новочеркасск он будет заезживать, жалование по Кругу получать будет и на это учиться, — настаивал один из боглаевских стариков.

— Нужно, нужно его послать на Круг, в голове у него хорошая мысль, чтобы с Россией не воевать, а жить особо, свою землю очистить и границы закрыть, это хороший совет! — поддержал другой.

— А верное это слово! Пусть-ка он на Круге свою мысль скажет, как на это большие люди посмотрят. Вовсе без надобности нам эта война. Если стать только на своих границах, может, большевики к нам больше не полезут, — вставил третий старик.

Иных кандидатов никто не выдвигал. Бадня единогласно был избран депутатом на Донской Войсковой Круг, т.е., в Донской Парламент.

Прежде чем ехать в Новочеркасск, Бадня решил съездить в Кевюдовы и навестить свою невесту, с которой целую зиму не встречался. Хотелось ему предстать перед Цеценей в положении депутата Круга, члена парламента в двадцать один год.

В сумерках июньского вечера приехал он в станицу и въехал во двор Цецени. На глазах смущенной и обрадованной матери, кинулась Цеценя в объятия Бадни.

После радостной встречи оба немного смущенные, оправившись и держась за руки, они о чем-то тихо разговаривая, медленно направились к дому. И потекли часы душевных бесед о минувшей страшной зиме, об идущих боях, о славе калмыцких полков, о потерях народа, о всех накопившихся новостях сумбурных быстротекущих дней.

Вечер был тихий лунный. Было, по-станичному, уже поздно. Утомленная дневным трудом станица спала. Только где-то далеко-далеко, на окраине, раздавались веселые мальчишеские голоса, доносились всплески визгливого девичьего смеха, иногда протяжный и мягкий мотив песни, так гармонирующей с тишиной лунной ночи и всей природой калмыцкой станицы. То была вечеринка станичной молодежи.

Как никогда, малолюдны были станицы весной 1918 года. От восемнадцати до сорока пяти лет все мужчины были в полках, остались мальчишки до семнадцати лет, молодые инвалиды, легкораненные фронтовики, а главное, здоровые, веселые и молодые жармелки, зрелые девицы на выданье; и было кому петь и в задорном смехе ночном, в танцах, и играх веселых глушить избыток сил и здоровья.

Цеценя и Бадня, тесно прижавшись, сидели в густой вызревшей траве на току. Отпросившись у матери на вечеринку, они не пошли туда. На пустынном току, в пахучей траве, вольно текла любовная беседа. Цеценя растирала в руках остро пахучую мяту и подносила ладонь к носу Бадни. Он вдыхал острый запах и целовал крошечную пухленькую ладошку. Жених и невеста ласкались и болтали что на ум взбредет. Свиданье после долгой разлуки с желанным и любимым, лунная летняя ночь, мелодия степной песни вдали да могучие объятия Бадни кружили голову Цецене. Заглядывая в глаза Бадни, она спрашивала:

— Ты забыл ее совсем? Любишь меня? А за что?

— Тебя только люблю, за твой ум, твою честность, твою монгольскую милую красоту. Люблю эти глазки узкие и огненные, эти губки говорливые, — шептал

Бадня, целуя и до хруста в ребрах прижимая к себе маленькую и хрупкую фигурку девицы.

Цеценя с трудом втянула в себя воздух, обвила шею жениха руками и жадным поцелуем впиалась в губы. Бадня вздрогнул, страстно осыпая лицо поцелуями, шепча какие-то невнятные слова, взял ее на руки, положил на свои колени и не обращая внимания на беспокойный шопот ослабевшей Цецени, повалился с нею в густую траву...

Как ужаленный вскочил он и колкие слова укора и огорчения бросил в лежащую скомканную белую фигурку в траве:

— Цеценя! Я не ожидал, у тебя не было чести, а на такой девице я жениться не могу: ты обманывала меня...

Вспугнутой птичкой встрепенулась белая фигурка, и посыпались молящие слова:

— Подожди, выслушай, я — честная девушка! То был не грех, а несчастье: еще ученицей в Чепраке я была изнасилована сыном квартирного хозяина. Была я дура — боясь огласки, я смолчала, горько плакала и ушла с квартиры. Я боялась, что выгонят из школы... Подожди, Бадня, выслушай! Какое имеет значение этот физический фактор, если ты веришь в мою порядочность, если ты меня любишь?..

— В том и трагедия, Цеценя, что я без этого не могу верить в твою порядочность! Без этого разве девушку берут замуж? Я этому фактору придаю огромное значение. Честь девушки, это — основа доверия мужа и залог счастливой жизни. Как я могу верить жене, которая еще девушкой потеряла честь? Я не хочу тебя судить, прости меня, но откровенно говорю, что между нами легла пропасть, которую не перешагнешь. За один слабый признак легкомыслия я покинул Зиндму, а тут?..

Закрыв лицо ладонями, с приглушенным рыданьем уткнулась в траву Цеценя. Нежданный и негаданный случай, почти забытое несчастье мгновенно разрушило всю ее мечту, разорвало сотканное счастье. Было обид-

но от беспомощности, было горько от непоправимости положения.

Бадня неподвижно и безмолвно стоял над ней, не зная что делать. Было жалко ему Цеценю. Кинуться утешать ее не мог, ибо решение его было бесповоротно. Это была не размолвка, а окончательный разрыв.

Вдруг Цеценя вскочила на ноги.

— Вон с моего двора! Вон, надутый индюк! Ты, ты... мясо ищешь, а не душу, не сердце, не ум человека, не подругу достойную, а невинную самку! Вон! Мы с тобой еще посчитаемся! — зло зашипела Цеценя, приближаясь к нему.

Бадня облегченно вздохнул, повернулся и широкими шагами направился в конюшню. Минуты через три затопали конские копыта со двора, послышался удар плети, и по пыльной безлюдной улице станицы, по направлению к мосту через Куберле, помчался во весь дух всадник, преследуемый десятком станичных собак.

Верст семь-восемь гнал Бадня коня и только когда «Бюргед», тяжело и шумно дыша, замедлил ход и сам перешел на рысь, Бадня сдержал его и поехал шагом. Бешеная скачка и ночная прохлада утихомирила бурю в душе Бадни, и он отдался спокойному размышлению, начал беседу с самим собою, что всегда так успокаивало его.

— Эх, цивилизация!.. Много хорошего даешь ты, нельзя без тебя и под небом жить достойно, в темноте и черном труде невыявленными гибнут одаренные сыны народа. Но зато ломаешь и уродуешь не мало. Целомудреннейшие и скромнейшие наши девицы, а что делает цивилизация с ними. Как по новому вели себя наши девицы на съезде, как вела себя Зиндмя? Разве простые наши девицы, даже на вечеринках молодежи, где царит веселье, позволяют себе такую вольность — сидеть, например, рядом с парнем и открыто кокетничать? А бедная Цеценя — какою она оказалась? Какая теперь ей жизнь предстоит в замужестве, без доверия мужа? Жаль ее, умную и толковую девушку, но я поступил честно, не мог бы я ее уважать, не мог бы до-

верить ей! Пожалуй, хорошо, что это сегодня открылось, когда еще не было поздно, а если бы женился, а потом только обнаружил и люди узнали бы? То было бы хуже во сто раз. А как я хвалился тогда перед Васей...

Было около полуночи; ехать всю ночь и зря морить коня не было смысла. Скоро Бадня набрел на небольшую котловину, густо заросшую переплетенным разнотравием. Расседлав и стреножив коня, принявшегося жадно хрустеть сочной и пахучей травой, Бадня растелил потники, из седла сделал подушку и с удовольствием растянулся.

Немую тишину степной ночи изредка вдали прерывали перекликающиеся совы, филины и перепела, да тихое шуршание насекомых. Мягкий тепловатый ветерок чуть слышно шелестел верхушками трав и нежно ласкал лицо, а высокий, синий небесный купол мигал бесчисленными зеленоватыми огоньками.

Едва слышно донесшийся гул орудийного выстрела напомнил Бадне, что не так далеко фронт, что где-то его товарищи — юнкер Ниминов, уже получивший в первой же атаке Георгия, хорунжие Маркусов, Мусов, командиры сотен Зюнгарского полка, может быть, идут в бой, ежеминутно рискуют жизнью, что где-то льется кровь, гуляет смерть, расцветает зло, и люди там не замечают красоты природы и не думают о мелочах жизни.

— А я обнаружил тут отсутствие у невесты чести и в кипучей злобе бешено скачу по степи! А две недели тому назад, когда шел в атаку на станцию Куберле, или когда с Ниминовым шел в ночную разведку, чтобы подслушивать большевиков, на ум не приходила и сама Цеценя! Плевать! Жизнь гораздо проще, и зря ее люди усложняют. Напрасно я весною так обидел Зиндму. В сущности ведь она ничего особенного не допустила! Ну, ухаживал Усутов, ну, положим, нравился он Зиндме, но ничего же ведь не случилось. А я ревновал как напоказ, может это и обидно было Зиндме. Девица она гордая, — так думал Бадня, широко-

открытыми глазами ловя миганье звезд. — Ведь мама моя, простая, строгая патриархальная калмычка, внимательно выслушав меня, так и не поняла, в чем вина Зиндмы. «Дуришь», — сказала она. Да и верно, сдурил я тогда! — решил Бадня про себя, и досадно ему стало за сделанную глупость.

Вернувшись на другой день домой Бадня заявил отцу, что раздумал жениться на Цецене, не желая идти наперекор желанию всей своей семьи, и просил, чтобы поспешили отвезти к Дамбе очередное угощение, как будто ему, Пурве, ничего неизвестно о размолвке между женихом и невестой.

Пурве и Уланка очень обрадовались решению Бадни и захлопотали о поездке к любимым сватам. Так как могло предстоять объяснение, то решили ехать вдвоем, без посторонних.

Через неделю когда Пурве и Уланка выезжали к сватам, Бадня передал с мальчиком-кучером (в это время Павло был на фронте) большое письмо Зиндме, в котором умолял о прощении за свой прошлогодний поступок, брал всю вину на себя и просил не мешать их родителям возобновить официальные отношения сватов.

На счастье Бадни, случилось так, что мать Зиндмы, выслушав подробный рассказ дочери о разрыве, нашла виновной свою дочь и взяла она Зиндму в твердые руки, всю зиму преподавая ей уроки поведения девушки-калмычки.

Поэтому, когда Пурве и Уланка приехали с очередным визитом, в семье Дамбы Дударовича о былом разрыве между женихом и невестой никто и не вспомнил. Сделали вид, что минувшая зима была настолько трудна и богата опасностями, что сваты не могли раньше ухода большевиков приехать с визитом.

Только поздно вечером, когда сваты и свахи остались одни, добродушно усмехаясь, Дамба Дударович спросил:

— Ты, сват, кажись, в большой дружбе со вдовой Кермековой? Продолжается ли ваша дружба?

Смутившись, Пурве громко засмеялся и махнул рукою. А потом ответил:

— Да! Беда с этими учеными детьми! Давайте-ка, милые сваты, поскорее сыграем свадьбу. Чего доброго, а то опять поссорятся они меж собою и скажут нам, что мы уже не сваты. Разве вы не слышали, как я своего Бадню вывел в степь и исполосовал арапником за то, что он объявил мне о своей ссоре с невестой?

— Да и я заставила свою Зиндму водички хлебнуть за эту зиму. Теперь она у меня шелковая. Видите, ее нет, а то бы она сидела тут на тех правах, что она образованная и калмыцких обычаев не признает, — отвечала жена Дамбы.

— С нашей стороны препятствий нет, дочь наша на выданье, приданое почти все готово, в хороший день и сыграем свадьбу, — отвечал Дамба.

Сваты сговорились этой же осенью, сразу после уборки хлебов, сыграть свадьбу.

По возвращении родителей, узнав, что все обошлось благополучно, Бадня облегченно вздохнул и выехал в Новочеркасск, чтобы до начала университетских лекций окунуться в работу Войскового Круга.

**
*

На другой же день, как ускакал с ее двора Бадня, оскорбив ее любовь, Цеценя оседлала лучшего из четырех своих коней отцовским седлом, надела сапоги, увязала в торока запас белья и платьев и, молча расцеловав плачущую мать, выехала в сторону станции Зимовники, которую занимала отступающая на север большевицкая армия. Прибыв к калмыкам 76-го Донского полка под видом гостыи, она нашла среди бокшурганцев брата убитого Бадней Зари Сафонова — Керядыка Сафонова, познакомилась с ним и в долгой беседе, сыграв на его жажде мести за убитого брата, уговорила его перейти вместе с нею к большевикам.

В первую же ночь, незаметно проехав меж своих редких постов, они присоединились к большевикам и

радостно были встречены находящимися там четырьмя калмыками — Хомутниковым, Городовиковым, Кануковым и Илюмджиновым.

Окруженная со всех сторон казачьими полками, ежедневно выдерживая бои и атаки, испытывая часто затруднения с питанием и водой, с большими тяготами передвигалась эта большевицкая армия, из калмыцкого округа направляясь в сторону Царицына, по Владикавказской железной дороге. Красные полки Буденного, Жлобы, Думенко, Городовикова, Хомутникова, Канукова и Илюмджинова были костяком этой армии большевиков. Воспрянувшие духом казаки на всех фронтах гнали северных пришельцев из своей земли.

— Выгоним хохлов из своей земли, станем по границам и конец войне, будь она проклята! — можно было услышать в каждой казачьей сотне, почти от каждого казака в лето 1918 года.

Дамба Дударович, по уговору со сватом, приехал к Пурве в Богла, чтобы отсюда вместе ехать в Бокшурганский хурул, к Ламе — узнать, какой день какого месяца будет счастливым для свадьбы. В просторной зале Цагакова, далеко за полночь сидели сваты, вспоминая старину и попивая осеннюю раку.

Было осеннее утро, когда сваты выехали со двора. Одеты они были на этот раз одинаково, строго по-калмыцки. Кони под ними — хорошие, улучшенные дончаки, сухие, сильные и красивые — гордость всех зюнгарцев. Под Пурве — рыжий «Бюргуд», а под Дамбой — вороной, с красивой белой проточиной по лбу.

Пурве, своей осанистой грузной фигурой, сидит под шаг лошади прямо, даже несколько откидываясь назад. В левой руке у него поводья, а правая, сжав в ладони вдвое сложенную плетъ, покоится на бедре. Оттого вид у него гордый. Богатырем старинных сказок чувствует он себя, когда едет по степи на добром коне. А наездник в свое время он был лихой, владел и плетью славно.

Дамба не меньше своего свата, только в плечах он сутулый и красивее лицом. У Пурве лицо пухлое, с узкими щелями глаз и широким носом, а грубые черные волосы, с редкими сединой, остриженные в кружок, двухвершковой толщиной, лоснясь, покрывают полшеи. У Дамбы же большие черные глаза, с густыми ресницами, и прямой, с маленькой горбинкой, нос, а волосы он стрижет под полку.

Когда сваты, переехав узкую болотистую речку по скрипучему деревянному мосту, поднялись на бугор и миновали Янов курган, перед ними, на далеком горизонте степной равнины, показалась нестройными очертаниями раскинувшаяся Бокшурганская станица. Голубоватый кизячный дым, лениво тянувшийся из всех труб, пронизанный лучами утреннего солнца, рваными клочьями легкого тумана стлался над станицей. Из

темной зелени садов, сверкал златоглавый хурульный соме — буддийский храм.

Позади — от хутора Богла, и впереди — от станицы, между которыми было верст пятнадцать, виднелись многоголовые пестрые стада коров, белыми облаками казались отары овец, направлявшихся на просторные толоки.

В степи начинался день...

Лама — Менке Борманжинов, неустанно борется за скромную и праведную жизнь, за верность обычаям старины. Святой Лама строг; он не любит, когда от говорящего с ним мирянина пахнет табаком или водкой. Не любит он также, когда калмыки показываются ему одетыми в русскую одежду.

Дамба и Пурве заядлые курильщики. Поэтому после завтрака, викутив по трубке, они тщательно промыли зубы соленой водой, пожевали сухого чаю, чтобы вывести табачный дух; и теперь набитые табаком трубки, завернутые в платки, лежали у них в карманах.

Ехать по степи и не курить скучно, и сваты спешат. То и дело от размашистой рыси переводят коней на намет. У обоих большое желание пустить коней во весь дух и испытать, чья лошадь резвее, да только каждый из них стесняется: пожилым, почетным людям, да еще едущим к Ламе по такому важному делу, не пристало скакать сломя голову, как молодым парням на «наадн», а потому, когда кони, сами увлекаясь, начинают развивать резвость, они почти одновременно спохватываются и переводят коней на рысь и шаг.

Станица Бокшурганская богата и многолюдна. При приближении к ней уже издали бросаются в глаза многочисленные скирды соломы, сена, красные, зеленые и белые жестяные крыши деревянных домов, с длинными деревянными заборами. Особо, посреди площади, стоят: желтое здание станичного правления и постройки при нем. Недалеко от правления — здания мужской и женской начальных школ, блестящие на солнце частыми и большими окнами, с садами и огородами при них. Кроме того, сразу бросаются в глаза несколько новень-

ких одноэтажных больших кирпичных домов вокруг станичной площади. Дома эти выстроены на собственные средства Ламы и по своей цене, в рассрочку, переданы зажиточным мирянам станицы, чтобы жили они в светлых и чистых помещениях и другие глядя на них, улучшали бы свои жилища.

Хурул бокшурганский самый большой и благоустроенный. В нем живет сам Лама, религиозный глава народа. Хурул утопает в зелени, окружен зеленым частоколом, за которым, вдоль круга, расположены небольшие чистенькие деревянные домики гелюнов, с конюшнями и каретниками при них.

Посреди хурула — храм, рядом с ним «шалир канг» — дом общей ежедневной молитвы. Дальше — два кирпичных дома Ламы, один старый, небольшой, другой новый, большой, нового стиля.

В хуруле всегда чисто и тихо. Только изредка крики самцов-павлинов, важно разгуливающих по саду со своими павами, да взрывы громкого смеха маленьких краснобешметных манджиков-послушников, играющих около помещения «заман» (общей хурульной кухни), нарушают тишину.

К хурулу нельзя подъезжать быстро. Сюда набожные калмыки подъезжают шагом, смиренно и почтительно. Так сделали и сваты. Они остановились у полуизгрызенной лошадьми длинной коновязи, у главных ворот хурула, слезли с коней, привязали их плетеными ремневыми чумбурами, поводья заправили под подбородки, ослабили подпруги, засунули свои плети под седельные подушки и развалистой походкой старых наездников вошли в хурул, направляясь к новому дому Ламы.

Тихо, на цыпочках, поднявшись на крыльцо, оставив здесь картузы, которых тут, вперемежку с женскими круглыми джкатаками и желтоверхими хаджилгами, было уже много, сваты осторожно открыли наружную дверь и вошли в длинный, широкий и светлый коридор.

Во всем доме стояла гулкая тишина. На их робкий кашель бесшумно открылась дверь приемной Ламы и, ступая на носках мягких красных сафьяновых сапожек, вышел дежурный «гецюль» — старший послушник.

— Вы к Ламе? Проходите, как раз прием начался, — шепотом, только губами прошевелив, сказал он и пропустил в комнату Пурве и Дамбу.

В просторной чистой комнате, пахнувшей приятным запахом можжевелевого дымка и шафрана, устланной восточными коврами, но почти без всякой мебели, на трех мягких, набитых лебяжьим пухом, желтых сафьяновых подушечках, в желтом парчевом одеянии, с широкой светложелтой атласной лентой через правое плечо и по поясу, за неизменным длинным столиком, на котором стояли «хонхо и очир» — колокол и священный знак мудрости, у стены против дверей сидел Лама, по-буддийски скрестив ноги.

Ему было лет под шестьдесят, но на вид нельзя было дать больше пятидесяти. В длинных, черных, опущенных вниз усах еще не было седины. На выбритой голове лишь кое-где серебрились прядки белых волос. Острый подбородок, прямой, некалмыцкий нос, выразительные черные глаза на побитом оспой лице, делали его на вид суровым и внушительным.

Направо, на стене, между двумя большими окнами с разноцветными стеклышками, пропускавшими мягкий ровный свет, висело в сажень шириной и высотой голубое атласное полотно, на котором золотыми нитями было художественно вышито изображение Будды. Под ним, на низеньком столике стояли в ряд двенадцать серебряных чашек с рисом, водой и сладстями. За ними, в золотом лампаднике, тихо мерцал неугасимый светильник, а рядом стоял «бумба» — узкий и высокий серебряный чайник с горлышком в виде птичьей шейки, в который была воткнута связка павлиньих перьев. В чайнике хранится сладкий, ароматный настой шафрана, употребляющийся как божий нектар при благословении.

Несмотря на то, что вдоль стены против Ламы сидело на коленях человек двадцать, в комнате царил тишина. Пурве и Дамба, ступая на носках, подошли к изображению Будды, трижды земно поклонились, положили на столик по серебряному рублю в пользу хурульной общины и, прикоснувшись головами к полотну, подошли к Ламе, молитвенно сложив руки и низко склонив перед ним головы.

Лама взял со столика в правую руку «очир» и благословил пришедших, прикосновением «очира» к их головам. Удостоившись благословения, не разнимая сложенных рук, Пурве и Дамба попятнулись назад и, дойдя до противоположной стены, сели в очередь мирян, с верой и надеждой ждущих помощи и указаний святого Ламы.

Первым справа, откуда обычно начинал Лама опрос посетителей, сидел седой старик в полинялом черном шерстяном бешмете, туго подпоясанный красным кушаком.

Вы, брат, зачем пожаловали? — внятно произнося каждое слово, спросил у старика Лама.

— Я, ваша святость, собираюсь перекочевать из хутора в станицу и желаю узнать ваше указание о счастливом дне для начала перекочовки и на какой стороне станицы выбрать мне новое место.

— Манджи, дай ящик и шо, — не повышая голоса, проговорил Лама, неизвестно к кому обращаясь. В ту же секунду слева безшумно отворилась дверь, вошел маленький чистенький манджик в розовом бешмете и поставил на столик перед Ламой длинный черный ящик с выдвигной крышкой и маленькую серебряную коробочку вроде табакерки.

Лама вынул из ящика довольно толстую, завернутую в алый шелк, старинную, тибетского письма, книгу в виде продолговатых четырехугольных твердых картонных листков и, тихо шевеля губами, начал читать.

Отложив наконец книгу в сторону, он взял коробочку, вынул оттуда пять беленьких из слоновой кости кубиков с таинственными линиями-иероглифами и точ-

ками на всех сторонах и, полузакрыв глаза, быстро прочитал молитву, взял в левую руку коробку, поднял ее ко лбу, а правой — взял кубики, несколько раз подул на них, встряхивая, и бросил их особым жестом в коробку. Потом положил ее перед собою на столик и, загибая пальцы, стал читать, считать кружки, точки и иероглифы на верхних сторонах кубиков. Кончив читать, Лама закрыл глаза, поднял вверх голову и, упершись указательным пальцем в правый висок, стал напряженно думать, беззвучно шевеля губами. От внутреннего напряжения весь он как-то побледнел, виски и лоб его покрылись едва заметными, мелкими каплями пота.

А затем он опять взял кубики и теми же приемами еще два раза кинул их и, тоном, не допускающим сомнения, заговорил:

— Перекочевку начните в этом месяце, в день свиньи. Новое место выберите на западной окраине станицы. Я знаю, что заставляет вас менять место. Новое место для вас будет счастливым.

Старик встал, прихрамывая, подошел к изображению Будды, трижды земно поклонился, приложился к краешку полотна головою, удостоился благословения Ламы и вышел.

— А вы зачем? — спросил Лама следующего.

— У меня не растут дети, вот уже пятый умер, и все в детских годах. Нам с женой уже под сорок, а выращенных детей нет. Ныне моя жена в положении, хотелось хоть этого, может быть, последнего, сохранить и вырастить. Я молю о вашей помощи, сделайте для нас что-нибудь, примите особенные меры. Кроме вас, не на кого надеяться...

— Хорошо, я отслужу особый молебен. Пусть ваша жена пьет с этого дня по три раза в день наговоренную мною воду, пусть носит на животе, как пояс, вот этот шелковый жгутик, сплетенный из пояса Далай-Ламы. После родов шнурок этот должны вернуть обратно. А вот зернышки «ирел» — пусть примет она, как только начнутся родовые муки. От сегодняшнего дня ваша

жена должна избегать нечистой пищи. Потом, когда родится ребенок, на седьмой день, приезжайте опять, и я помолюсь за него, — сказал Лама, протягивая обрадованному и обнадеженному мирянину шелковый жгутик и пять-шесть круглых черных зернышек, привезенных из Тибета.

— А вам что?

— У меня этой осенью выходит в полк сын. Хотел купить ему коня. Хотел узнать, какая масть будет ему счастливой.

Лама опять погадал на гадальных кубиках, спросил у него год рождения и имя сына, развернул другую, завернутую в белый шелк книгу, прочитал и сказал:

— Гнедой масти конь будет ему на счастье. Пусть ваш сын ведет себя на войне миролюбиво. Когда необходимо стрелять в противника, пусть не целится. Мы участвуем в войне по неизбежности, защищаясь. Ни один буддист не должен сознательно отнимать жизнь человека. Кто убивает и стреляет целясь, чтобы наверняка попасть и убить, тот совершает великий грех. Нужно стрелять только в сторону врага, чтобы пуля сама нашла того, кому положено умереть от нее. Эта война — начало великих событий, спастись только тот, кто будет хранить в сердце мир. Да вернется ваш сын живым и здоровым.

— А вам что нужно? — обратился Лама дальше к пожилой женщине, благословляя уходящего мирянина.

— Прошлой ночью моя дочь чихнула во сне. Говорят, что это плохое предзнаменование. Я хотела проверить это и, если верно, то прошу вас принять меры против всего плохого...

Лама чуть улыбнулся, заглянул в третью книжку, в желтой обертке, и успокоил суеверную женщину, сказав, что в чиханье во сне ничего дурного нет.

— Вы зачем?

— Мне дайте наговоренную воду против старого кашля.

— А вам?

— Мне воды против лихорадки.

— Все, кому нужно наговоренной воды, ставьте бутылки сюда, — сказал Лама.

Поднялось человек десять и все поставили перед Ламой бутылки с разноцветными повязками на горлышках, для приметы. Лама прочитал монотонным голосом длинную молитву, прикоснулся к горлышку каждой бутылки коралловой четкой и стал брать бутылки и дуть в горлышко по три раза и возвращать хозяевам. Минут через двадцать вся вода была наговорена.

— Пейте с молитвою и верою в Бога, и Бог вам поможет, — говорил он всем бравшим воду.

Очередь дошла до сватов.

— А вы по какому делу? — обратился Лама к Пурве. Пурве смущенно кашлянул, прочищая горло, и ответил:

— Мы вот с Дамбой — сваты. Приехали узнать, в каком месяце этого года и в какой день могли бы сыграть свадьбу наших детей.

Лама молча достал еще одну книгу и, развернув исписанные золотом черные картоны, спросил:

— Что есть год жениха?

— Овца.

— А год невесты?

— Собака.

Лама отыскал в книге место, долго читал, троекратно погадал на кубиках и сказал:

— На день среднего осеннего месяца можете сыграть свадьбу. Это будет день счастливый. Это ровно через месяц. Можете ли вы к этому дню подготовиться? А то есть еще благоприятный день, в конце зимы...

— Мы желаем в ближайший срок, у нас все готово, — поспешил ответить Пурве.

— Ну, так слушайте указания: жених должен быть на рыжей лошади, но без отметин, а невесту должны везти на белой лошади. За неделю до свадьбы, значит, двенадцатого, привезите жениха и невесту на венчанье. Жених во время венчанья должен сидеть на зеленой подстилке, а невеста — на желтой. На подстилках

должно быть посыпано по пригоршне рисового зерна в виде креста с загнутыми в одну сторону концами. Увоз невесты утром, как только лучи солнца начнут прямо падать на козий лоб. Голову невесты покрыть желтым покрывалом, и над ней во все время пути до дома жениха должен развеяться свадебный белый флаг, флаг к тому времени будет изготовлен «зурхачи». Когда невесту привезут в кибитку жениха, посадите их рядом, на левой стороне кибитки, на тех же подстилках, на которых они будут венчаться здесь, у меня, и накормите их из одной чаши пищей желтого цвета, например, пшенной кашей, а все остальное — по обычной нашей традиции, которую вы знаете. Так. Запомнили твердо?

— Запомнили. —

— Хорошо. А теперь послушайте дальше. Я скажу вам несколько слов. Мне известно, что наши калмыки в последние годы, когда милостью богов хозяйственно стали лучше жить, вместо того, чтобы больше и чаще молиться Богу, жить скромной, праведной жизнью буддиста, заботиться о своем духовном очищении для достижения блаженного спокойствия, пристрастились к греховной роскоши, вызывающей зависть и вражду со стороны неимущих, к пьянству, вводящему человека в греховные деяния, к картежной игре, губящей совесть человека, стали рядиться в дорогие одежды, покупать дорогие блестящие подводы и много другого такого, без чего хорошо жили наши предки, можно жить и теперь... Все, это есть грех, радость сатане. Оттого люди нашего века стали недолголетни, умножились разные земные недуги. Какой народ забывает о душевной чистоте, начинает больше заботиться о материальных благах, с тем народом всегда так бывать должно... Никакое материальное богатство не избавляет человека от страданий, только очищенная душа и совесть дает человеку покой и блаженство...

Лама оживился, глаза его начали гореть жгучим блеском. Миряне в такие минуты не могли смотреть ему в лицо, под обличающими его словами они бледнели и, уныло опустив головы, с трепетом душевным слушали

его, покоряясь силе его вдохновенного слова. Лама помолчал минутку, глядя в глаза сватам, и продолжал:

— Свадьбы, вот тоже, начали справляться слишком богато, расточительно. Богатые от изобилия и довольства беснуются, а бедные за ними тянутся изо всех сил, завидуя богатым, злобствуя на них, впадая в тяжкий грех, и грязнят душу завистью. Отсюда опять соблазн дьявола. Оттого больше стало несчастных браков, что свадьбы справлены в атмосфере зависти, злобы и хвастовства. Если вы хотите снискать на бракосочетание ваших детей мое благословение на счастливую жизнь, мою молитву перед богами, то устройте их свадьбу по моему указанию, данному на основе традиции наших старинных свадеб! Слышите вы?!

— Слушаем мы.

— Согласны исполнить?

— Так, согласны мы.

— Встаньте, поклонитесь перед святым изображением и обещайте мне не изменить данному слову.

Пурве и Дамба вздохнули, встали, трижды поклонились, прикоснулись головами к изображению Будды и сели обратно.

— Теперь слушайте и твердо застегните в уме: женихова сторона, в качестве свадебного угощения, привозит сватам, а сторона невесты без упреков принимает, следующее: три тулума борцов, десять донджиков калмыцкого чая для взрослых, один ящик пряников и леденцов на радость детям, шерстяной бешмет и женский халат для отца и матери невесты и десятка два белых платков для остальных родственников. И все. Поняли и запомнили?

— Поняли и запомнили мы.

— Можете идти.

Пурве и Дамба встали, неловко ступая на онемевших от долгого сидения ногах, подошли под благословение Ламы и, пятясь назад, вышли.

На обратном пути сваты ехали неспеша. Трубки дымилась в зубах.

— Ну, дорогой сват, — заговорил Пурве, набивая вторую трубку, — как быть с указанием Ламы относительно свадебных угощений, ведь мы дали слово перед ним и Богом?

— Чего же ты беспокоишься, сват! Лама всегда в таких случаях дает эти указания, однако, ни одна свадьба не справляется так, потому что у мирян уже укрепился свой свадебный обычай. Видел ты хоть одну свадьбу, так бедно и скудно справленную, как указал Лама? Нет! А ведь, свадьба проводится, как бы по указанию Ламы. На свадьбу моей дочери приедут одних родственников, не считая соседей и друзей, до пятидесяти человек и привезут до сорока разных шелковых, шерстяных и ситцевых халатов и «цегдигов» в подарок невесте. Да я сам, не считая обязательной беличьей шубы и паречьей шапки, покупаю ей швейную машину, кровать с пружинным матрасом, две курпековые шубы с шерстяной покрывкой, четыре пары обуви, комод, зеркало, стол и стулья, пуховые подушки, одеяла, вплоть до чайных чашек, тарелок, ложек. Теперь мода такая пошла! Четыре пары добрых быков продал ради всего этого, да наличные деньги все издержал. Выдаю старшую и любимую дочь, не хочу, чтобы она хуже других была справлена. Так, теперь посуди сам: можем мы выдать ее, как следует, всей родней, не погулявши, вдоволь не угостившись, как думаешь, сват?

— Все это так, сват Дамба, понимаю я, — отвечал Пурве, — но вот обещание, данное Ламе меня вяжет, Богу помолились, что будем слушаться, а потом... теперь так трудно все достать... Война эта.

— Да оставь ты, Пурве, разве мы одни Ламу обманываем? Все же так поступают! Разве ты искренно обещался перед Богом исполнить указание Ламы?!

— А как же?

— Ху! Я просто помолился о благополучии молодых, так что, если говорить правду, я Бога и не обманывал. Нехорошо и Ламу обманывать, но что делать, он человек святой, а мы, миряне, грешны, не можем мы жить так, как он. А что трудно теперь достать, так

это вовсе пустяки. Поезжай с деньгами в Ростов и там за хорошие деньги, особенно — за золотой, у евреев все достанешь, и не так дорого, в сравнении с нынешними ценами.

Пурве ничего не ответил и тяжело вздохнул, приподнявшись на стременах, подав свой грузный корпус вперед, опершись левой рукой на холку коня, пустил его размашистой рысью.

— Вот приедешь с официальным визитом о дне свадьбы, так мы всей родней посоветуемся, и ты услышишь наше подробное перечисление всего того, что тебе привезти на свадьбу, — успел сказать Дамба, рыся рядом с Пурве.

**
*

На третий день, к вечеру, Пурве уже сидел у Дамбы. Родовой совет шумно распивал четвертую бутылку водки, привезенной Пурве и, закусывая леденцами и пряниками, обсуждал, что и сколько назначить от жениховой стороны в качестве свадебного угощения на родовой праздник — пир.

— Ну, наш дорогой сват, слушай, — обратился, наконец, Дамба к свату, — вот, что ты привезешь нам: одну баранью тушу сваренную, другую сырую, одну овцу живую (здесь зарежете), одну заваренную корову, полтуши конины (лучшую часть), пятьдесят кирпичей калмыцкого чаю, десять пудов сушки, пятьдесят булок, десять пудовых ящичков пряников, десять полпудовых ящичков леденцов, пять ведер русской водки, десять ведер калмыцкой раки... Вот, кажись, и все угощение. А теперь подарки: мне, моей жене, брату моему и старшей сестре с мужем по шелковому халату или бешмету, десять шерстяных халатов и бешметов для остальных близких родственников, десять ситцевых халатов для родственников дальних, да достаточное количество аршинов белого коленкору для всех посетителей! Число аршин, значит, будет зависеть от числа посетителей. Что останется, то ваше, но чтобы ни один человек, пришед-

ший на свадьбу моей дочери, будь то сирота безродный, проезжий русский, татарин, не был бы обойден подарком. Чтобы все были накормлены и напоены. Думаю, что коленкору аршин сто хватит. Много людей на войне, малолюдна стала наша станица. Вот и все. Кажется, что такая свадьба будет подходящая, не стыдно будет и людей позвать. Да! — высохни мои мозги! Чуть было не забыл! Еще десять фунтов хорошей карамели, такую же коробочку пряничков с медом внутри, да бутылочка хорошего вина — это для подруг невесты и молодой родни для ее прощального вечера.

— Милые сваты, да пощадите меня, без штанов ведь останусь, не по силам мне это! Мы ведь хорошие, доброжелательные сваты! Слишком много назначили, сбавьте хоть немного... Ведь обеднею я, потом придете и угостить вас будет нечем. Если беден буду, то и дочери вашей хуже будет житься. Не мое хозяйство, я уже стар, а сына моего и вашей дочери. Не забывайте, сваты, старинную пословицу: «Напиваясь, — не будьте быком, наедаясь, — не будьте волком». Это как раз про свадьбу сказано!

— Ну так и быть, сват, жалко тебя, — прерывая свата, заговорил Дамба, — чтобы не огорчать тебя отказом, сбавляю: два ящичка пряников, один ящик леденцов, полведра водки, полкоровы, живую овцу, пять кирпичей чаю! Больше не могу! Ведь человека с круглой головой берешь навсегда, а о вещах торгуешься. Она у меня — первенец, а у тебя сын первенец, первый раз мы с тобой свадьбу в домах наших играем, не так ли?! Так устроим это свадьбу хорошо, чтобы перед соседями не краснеть! Пусть вся станица напьется и наестся, как говорится: «и дети-сироты и собаки-беспризорные».

Дамба несколько минут молчал в раздумье и вдруг, гордо приосанившись, заговорил:

— Множества богов благоволением, всей станицы нашей благополучьем, — ни ты, ни я не бедняки. Не обеднеем и от хорошей свадьбы. Бог нам дал довольство, чтобы мы им пользовались в жизни. Скупость нам не

простительна. Сыграем свадьбу наших детей по-человечески, загуляем перед старостью как следует! А потом, видишь, какое время настает? Прошлою зимою мог ты сказать, что твое хозяйство тебе принадлежит?! Ведь, приходили паршивые большевики и брали твоего коня и отмыкали сундук твой! Вон, счастливейший из земных, белый царь, как в сказке, на троне золотом сидел и золотых деточек ласкал, а теперь где он? Разбойники и каторжане арестовали его, увезли в Сибирь и убили там со всей семьей!

— Да, правильно говоришь, Дамба! Я согласен, — поспешил сказать Пурве, видя, что сват начинает раздражаться.

Со следующего дня, за месяц вперед, в обоих домах начались спешные приготовления к свадьбе. И там и здесь бесконечно шили, курили и собирали раку по всему хутору, закупали все условленное, ибо соглашение, заключенное между сватами, — свято. Обе стороны изо всей силы стараются точно его выполнить. Здесь задета честь дома, всего рода и его доброго имени.

Трудно оказалось достать все условленное жениховой стороне, но потрянул Пурве старой кожаной сумочкой с золотом, а Бадня — мандатом члена Донского Круга, и удалось достать в Ростове и Новочеркасске то, чего другие не достали бы.

ГЛАВА 12

ВЕНЧАНИЕ У ЛАМЫ

Девиц, родившихся в год собаки, и молодых людей, родившихся в год овцы — женихов и невест — свадьбы которых должны быть в один день, девятнадцатого дня среднего осеннего месяца, съехалось на венчание у Ламы пять пар, из разных хуторов и станиц.

Родители, привезшие кто сына, кто дочь, сдали дежурному гецюлю подстилки молодых, привели венчающихся к дверям дома Ламы и разошлись по родным и знакомым в станице.

Дежурный гецюль разостлал подстилки венчающихся в зале у Ламы в два ряда; желтые, невестины, впереди, зеленые, жениховы, сзади, так, чтобы против каждой желтой приходилась зеленая. Потом он принес полную чашу риса и сделал из него крестики с загнутыми в одну сторону концами на каждой подстилке. Венчающихся еще не пускали.

У дверей храма, робкой и стыдливой гурьбой, отвернувшись от женихов, в разноцветных шелковых бешметах, туго подтянутые серебряными или позументовыми кушаками, с непокрытыми головами, сверкая на солнце длинными толстыми черными косами, стояли пять невест. Для стыдливых и целомудренных калмыцких девушек этот момент был очень неприятен. Зиндмя держала себя свободно, но, не желая выделяться из среды подруг, она тоже стояла с ними, отвернувшись от женихов.

Недалеко от них, тихо переговариваясь, сдержанно посмеиваясь в сторону невест, в черных шелковых бешметах, подпоясанных узкими черными ременными поясами в серебре, стояли пять женихов.

Приготовив все для обряда венчания, дежурный гецюль появился в дверях коридора и, сдерживая улыбку, пригласил женихов и невест войти в храм.

Подталкивая друг друга и выдвигая Зиндму вперед, невесты вошли первыми. Зиндмя первая трижды по-

клонила перед изображением Будды, подошла к Ламе под благословение и села на свою подстилку. Ее примеру последовали и остальные девицы. Во главе женихов вошел Бадня и хотел было прямо подойти под благословение Ламы, но дежурный гецюль, молча наблюдавший за ним, показал ему на изображение Будды. Когда женихи уселись позади невест на своих подстилках, Лама, сидевший против них, с полузакрытыми глазами, перебирая четки и тихо шевеля губами, начал громко читать молитву.

Слов молитвы на тибетском языке молодые не понимали, как и все калмыки-миряне, но они знали, что совершается важный акт в их жизни, соединяет их здесь законными брачными узами на всю жизнь и что с этого дня жизнь каждого из них связана и зависима от жизни другого существа.

Некоторые места молитвы Лама сопровождал мелодичным звоном ручного колокольчика. Молитва была длинная, продолжалась она около получаса. В конце ее Лама встал и трижды прикоснулся к головам молодых «очиром» и четками. Потом он сел на свое место и начал другую молитву, с иным, более отрывистым мотивом.

Бадне было скучно. Психологическое значение обряда и его важность он признавал, но не мог вызвать в себе того серьезного и молитвенного настроения, какое было выражено на лицах других женихов. Бадне неудержимо зевалось и он делал большие усилия, чтобы не задремать. Чтобы убить медленно тянущееся время, он начал перечислять, чего бы он просил у Бога в будущей совместной жизни с Зиндмой:

— Дай Бог ладной жизни в любви взаимной, — начал было он просить по-русски, но сейчас же перешел к думам на калмыцком языке, — в здоровье и благополучии жить нам, многих детей нам иметь, трех сыновей и одну дочь. Нет, с какой стати сыновьям люди дают предпочтение, ведь факторы равноценные и взаимно необходимые, должна быть полная численная гармония, двух сыновей и двух дочерей, — шутливо начал

думать он, замечая, как в дверную щель из соседней комнаты чье-то блестящее черное око устремлено на девиц.

Между тем, Лама кончил вторую молитву и сказал:

— Встаньте, девушки и молодые люди, и поклонитесь Бурхану.

Венчающиеся встали, земно поклонились по указанию дежурного гецюля перед большой золоченной статуей Бога — Майдера, покровителя семей, и снова сели на свои места. После этого Лама быстро и бегло прочитал еще одну краткую молитву и обращаясь к молодым, заговорил:

— Ну, вы теперь удостоились божьего благословения на досмертную совместную жизнь. Живите ладно, уважайте и почитайте друг друга, знайте, что там, где не ладят, где слезы и брань, жестокие дела и слова, где люди говорят неправду, там дьявол находит себе работу, там грех и там не бывает счастья. Будьте набожны, бойтесь всего греховного, ухаживайте за своими стариками, почитайте их, и Бог даст вам долгую жизнь в счастии и благополучии. А теперь, женихи, выйдите, принесите головные уборы ваших невест и наденьте на их головы. Сильный да служит и помогает слабым — означает этот шаг...

Женихи вышли, поспешно разобрали кто какой попало почти одинаковые расшитые золотом черные бархатные джатаки и, не глядя в лица, наложили на головы невест. Зиндмя бросила мягкий взгляд своими большими глазами в сторону Бадни, когда он неумело надел чужой джатак на ее голову.

Этим обряд венчания кончился. Повенчанные подошли по очереди под благословение Ламы, прикоснувшись головой к статуе Майдери и положив каждый на столик перед статуей по золотой пятирублевке, парами вышли.

Отсюда они должны были разъехаться по домам, так как до свадьбы еще была целая неделя. Женихи первые вышли за ворота хурульной ограды и, став здесь, пропустили мимо себя невест, которые старались пря-

тать лица, отворачивались, сбивались в тесную кучу, а женихи пытались разглядеть их. Для тех женихов и невест, которые, по-калмыцкому обычаю, до самой свадьбы почти не видятся, конечно, было интересно взглянуть друг на друга. У Бадни и Зиндмы этот интерес отсутствовал. Но, все же, проходя мимо Бадни, Зиндмья не то радостно, не то насмешливо взглянула на него. Бадня с внутренней гордостью и удовлетворением заметил, что его Зиндмья стройнее и красивее всех.

В стороне от хурула, ожидая, уже стояли их подводы.

ЗА ДВА ДНЯ ДО СВАДЬБЫ

За два дня до свадьбы стали съезжаться к Пурве и Дамбе их родственники, живущие в других хуторах и станицах. Съехалось десятков подвод. У каждого из сватов собралась масса народу. Всех нужно было кормить и поить. Помимо чисто-свадебного, пришлось для собственных гостей резать по корове, непрерывно варить то калмыцкий, то русский чай, выпекать десятки хлебов, жарить борцыки. С ног сбивались хозяйки, но они не тяготились этим, — наоборот, и Пурве и Дамба, со своими женами, были радостно суетливы и добры.

Во дворе Пурве уже стояла новенькая беленькая кибитка для молодых. В кибитке лежали купленные, по традиции, жениховой стороной ковер для сундуков, пестрый ситцевый балдахин для постели и черный шелковый «цегдик» — халат-безрукавка, первый подарок мужа молодой жене.

Все соседи и родственники приходили поздравлять Пурве, пожелать его сыну счастья и обмыть кибитку. Каждый вошедший, со словами: «Да будет все новое на счастье и благо» клал на ковер свою посильную помощь — то серебряный рубль, то золотую монету, то десятирублевые или четвертные бумажки, а более близкие родственники и крупные суммы.

Этот обычай облегчал отцу жениха расходы по свадьбе. В том году шла война. Деньги были дешевы, а хлеб и скот дороги. Калмыцкие станицы быстро накапливали деньги, а потому и помощь на этот раз была особенно солидна. Родственники Пурве состязались в щедрости.

А у Дамбы, за два дня до свадьбы, все приданное дочери тоже было собрано, развешено и разложено по комнате. Каждый пришедший сосед или родственник непременно что-либо прибавлял к приданому невесты, с пожеланием ей счастья. Мать Зиндмы в таких случаях брала в руки подарок и громко объявляла, кто и что принес, а затем наливала гостю полную чашу раки.

Дамба был почтенный старик в своей станице, а Зиндма — любимицей и гордостью маленькой станицы Зюнгарской, и станичники старались во-всю, чтобы не ударить лицом в грязь перед боглаевцами, когда они, привезя к себе невесту, начнут разглядывать и расценивать все привезенное невестой приданное. В этом — не только честь родителей невесты, но, некоторым образом, и честь всей станицы.

Ко дню свадьбы набралось до пятидесяти шелковых, шерстяных и ситцевых халатов различных цветов, множество безрукавок, несколько шуб, несколько дюжин пар белья, целый воз предметов домашней утвари, постельные принадлежности, посуда и прочее. Близкие родственники делали ценные подарки: меховые шубы, шелковые, бархатные, парчевые или суконные халаты. Дальние дарили шерстяные, а соседи обходились ситцевыми платьями.

Сам Дамба Дударович в отношении приданого допустил новшество: он заказал дочери традиционную беличью шубу мехом наружу, а шелком внутрь, как это он видел на дамах в Ростове, а не наоборот, как калмыки делали испокон веков. Мало того, некоторые платья он заказал портным в Ростове, чем вызвал ворчанье местных мастериц, которые в таких случаях всегда старательно и совершенно даром целыми неде-

лями шьют приданое невесты. Шуба мехом наружу и заказанные у портного халаты вызвали оживленные толки, и с этих пор должны были вызвать подражание и стать традицией.

Свадьба — большое событие у калмыков. На ней гуляет вся станица. «Когда играется свадьба, и сухой череп сам катится» — существует популярная свадебная поговорка. И действительно, свадьба оживляет на несколько дней все население станицы. Для любителей выпить, сытно и плотно поесть, полакомиться, попеть, потанцевать, на коне поскакать, щегольнуть лошадьми, тачанками и фаэтонами, дорогой сбруей, вообще покуражиться, побуянить, пустить душу без аркана — на калмыцкой свадьбе большой простор.

Так было и на этот раз. Где-то на границе Дона шла кровопролитная война с красной Москвой, много своих сынов дали Богла и Зюнгар, много было уже вдов и сирот, но свадьба все заслонила, все горечи и опасения были на время забыты. Боглаевцы справляли свадьбу своего видного и популярного молодого общественного деятеля, члена Донского Парламента в двадцать один год, а зюнгары выдавали свою молодую и красивую учительницу. И шло соревнование.

За два дня до свадьбы жених со своими ближайшими товарищами и родственниками приглашается в дом невесты, в гости. Бадня пригласил с собой шесть молодых хуторцов, на лучших конях, две тачанки мужчин из близких родственников, нескольких миловидных молодцов, музыкантов и песенниц. Жениховой стороне в этом случае нельзя ударить лицом в грязь — гости должны уметь выпить полные чаши раки, не морщась, и не пьянея быстро, должны уметь подхватить и повести остроумный разговор, уметь повеселиться, попеть и потанцевать. По причине войны Дона с большевиками в хуторе было мало мужчин и вообще людей. Пришлось поискать даже в других хуторах своей станицы или даже в станицах соседних — Ики-Бурульской и Багудской.

Конечно, женихова сторона и на этот раз не едет с пустыми руками. Заднюю часть бараньей туши, ящик леденцов и пряников, мешок сушек и полведра водки повезла она с собой.

У сватов, в невестином доме, зарезан и сварен целый баран, и в большом котле на слабом огне разогревается целых три ведра крепкой раки, разбавленной свежими сливками. Этим приветствуют жениха с товарищами.

Вихрем подымая дорожную пыль, веселой компанией, горланя песни, мчится Бадня в Зюнгары, к тестю. Гости входят в дом с подарками тихо и чинно, жених входит последним. Расселись гости, соблюдая старшинство, вдоль стен комнаты на разостланных белых полстяных ширдиках. Жених сел ниже всех, у самого порога, по-традиционному подогнув левую ногу под себя, а правую поставив на ступню. Трудное и утомительное это сиденье вообще, а Бадне, не умеющему сидеть по-калмыцки, было оно просто мучительно. Но, в нем — почтение к старшим, к дому, в нем — традиция калмыцкой старины; в этой манере сидения — признание особенности момента. Общественное положение жениха тут роли не играет. Будь он хоть атаман станичный, раз явился в дом как жених, его место у порога, и должен он сидеть именно так, а не иначе.

На это торжество много людей не приглашается. Тут только ближайшие родственники невесты, тесный круг почетных лиц с обеих сторон, но самой невесты — нет.

Пир начинается с того, что привезли гости. Первую чашу, после традиционного троекратного брызганья первых капель вверх в честь вечно-голубого неба, покровителя монголов, подносят старику, сидящему во главе, мастеру-импровизатору цветистых пожеланий, а потом подносится хозяину и дальше всем, кто в доме. Следом подается холодная баранина. Пока едят, чаши с ракой, или стаканы с водкой успевают обойти всех еще по разу. Потом подается мелко изрубленная горячая баранина в соусе из бульона с луком, а чаши совершают

четвертый или пятый круг. Пьют тут все, отказаться невозможно, на этот случай хозяин подобрал специальных настойчивых упрашивателей, которые не принимают никаких отговорок и которые могут перед человеком просидеть целый час, мягко уговаривая выпить всю чашу, приводя всевозможные доводы, играя на самолюбии, восхваляя раку...

Особенно трудно сегодня Бадне: ему нужно пить со всеми наравне, на это обращено особенное внимание разносчиков, но в то же время жениху крайне неприлично напиться до пьяна, не то, что остальным гостям, которых накачают до того, что некоторых на ширдых отнесут до подводы. У Бадни сегодня надежда на свой здоровый молодой организм, еще не тронутый алкоголем, и на силу самовнушения — не напиваться, крепче держать в руках нервы и разум, когда у человека все двоится перед глазами, но ноги крепки, голова светла и язык меток.

После горячей баранины, после бульона и пятой очереди водки, когда лица краснеют, разговоры становятся громче, начинают сыпаться шутки и остроты, — одна из молодых с невестинной стороны, берет домбру с двумя жильными струнами и, после непродолжительного настраиванья, неуловимо быстрыми движениями пальцев по длинной шейке и частыми ударами по струнам, извлекает четкие и красивые звуки плясового мотива.

Тут опять для Бадни экзамен: он должен показать невестинной стороне свой танец, свою «ухватку», как говорят парни. Когда плясовая мелодия стала особенно четко раздаваться, встала одна из родственниц невестинной стороны и начала танец.

Калмыцкий танец на первый взгляд прост, но для танцующего он труден и утомителен. Напряжены все мускулы и нервы под бешеный темп музыки. Для внимательного глаза в калмыцком танце есть что и понаблюдать. Каждый человек дает в нем и свое нечто, каждый имеет свою манеру и свои импровизации, в них можно угадать и характер и темперамент человека.

Калмычки танцуют тихо, мелко дрожа всем телом, плавно качаясь, без звука каблуков, без сильного топота, без резких движений. Соль танца калмыцкой женщины — скромная грация. Крыльями расправив руки, бесшумно трясется она напружиненным телом под быстрый такт игры. В нужный момент, когда звуки плясовой залопочут о том на своем языке, начинает она поворачиваться слева направо и, сделав полный круг, затихает. Так в жаркий день, высоко-высоко в голубом небе, плавно кружится лунь, неподвижно расправив крылья.

— Передай танец жениху! Жениху, жениху!!! — закричали кругом.

Танцовщица с улыбкой подошла к Бадне и прикоснулась правой рукой к его правому плечу — это означает чистоту и братство отношений, тогда как прикосновение к левому плечу означает наличие сердечных чувств — передала она танец.

Бадня побледнел. Чтобы взять себя в руки, он просчитал про себя до четырех и встал, с удовольствием расправляя затекшие ноги. Оправив пояс, ниже и плотнее надвинув фуражку на правую бровь, твердыми шагами, ловя ухом темп и мотив плясовой, подошел он к музыкантше.

— Не робей! Развей золу! — крикнул кто-то из его товарищей, ободряя Бадню. В ушах его шумело, сердце сильно билось от выпитой раки, от шумной и исключительной обстановки. А так как танцевал Бадня очень редко, то боялся, что осрамится перед задорными молодцами, по косточкам разбиравшими жениха.

— Эх! Была не была! — ответил он про себя на ободряющий окрик своего товарища и со взмахом расправил руки. В ту же секунду он передал тяжесть тела на правую ногу, топнул левой, в тот же миг напружинив ее, топнул вправо — и одновременным топотом обеих ног поймал такт игры и энергично, ровно и часто затряс корпусом. При этом напружиненная левая нога на носке держала тяжесть тела, едва касаясь земли

каблуками, а правая держала тяжесть тела, едва касаясь земли носком.

— Не плохо танцует он... Он красиво сложен... Красиво руки держит, — зашептались молодницы, родственницы невесты.

— Авад од! Хадрись! — ободряли криками его товарищи.

Бадня уже осмелел, и ноги его свободно выделявали привычные па. Танец потерял принудительный характер и захватил его, волнуя и горяча кровь. Домбристка, сыгравшая ему самый модный и лучший мотив, внезапно перевела игру на вариацию для поворота. Бадня на миг замер и вдруг, как на пружинах, броском отскочил шаг назад и, не теряя темпа игры, звучно щелкал каблуком правого сапога по каблуку левого, выбивая четкую и ясную дробь.

— Тра-та-та, тра-та-та! выбивали сильные ноги. Так как танцор правым каблуком бил по левому, а не наоборот, как обыкновенно, то он начал поворачиваться справа налево, что у калмыков не принято и считается дурным тоном. Танцор, делающий такой поворот, считается плохим танцором, которому не рекомендуется выступать в официальных случаях перед почтенными людьми.

— А-а-х, бедняга! Да он не умеет поворачиваться по-обычному, он поворачивается неловко, как иновер! Ой, стыд, зачем он решился танцевать! Выпил... — зашушукались молодницы, разочарованные танцем жениха. Но, Бадня это знал, это был его номер. Не замыкая круга, он неуловимым броском передал тяжесть тела с левой ноги на правую и, уже щелкая левым каблуком по правому, стал поворачиваться слева направо, по-традиционному.

А-а! Он — мастер! Смельчак наш зятек, он еще трюки выкидывает, молодец! — уже одобрительно зашептались молодницы. Под общий гул одобрения кончил Бадня танец и передал его одному седому старику.

Старик немедленно встал, бодро, с решительным видом подошел к музыкантше и попытался танцевать,

но видя, что не поспеть ему за современным мотивом, махнул рукой, горестно вздохнул и проговорил:

— Яха-яха! Где мои годы молодые, бывало... — и начал дед утирать невольно скатившиеся слезы.

Зашумели и засмеялись все над стариковым горем.

— Ну-ка! Песенники там! Подносите гостям с песней! — скомандовал хозяин.

Три разносчика наполнили ракою желтые деревянные чашки и стали в ряд. Три молодницы стали за ними.

— «Манца-а-а-а гиде-е-е-к голо-о-о-а-а-а!» — плавно, свободно льющим серебристым голосом завела одна из певиц. К ней присоединились остальные молодницы, подхватили мужчины, и полилась ровная, заунывная, душу умиротворяющая степная песня.

— «К-и-и-.-в!» — ухо режущими голосами заревели подвыпившие мужчины, чтобы ободрить, подзадорить поющих. К певцам присоединились еще охотники, и через минуту весь дом с увлечением, от души, пел любимую песню о спокойном и мирном течении Маныча, о трех братьях, перед выходом в полк пирующих в Макеевом кабаке, о генерале Матвее Платове, собирающем на Матвеевом кургане калмыков, чтобы вести их против французов, о широком раздолье Задонской степи.

Песня эта напоминала калмыкам о том прекрасном недавнем прошлом, когда они свободно, беззаботно и привольно кочевали по степям Задонья, заполнив их тучами табунов скота, когда земля еще не была размерена для них, когда они еще не чувствовали себя пасынками чужого государства.

Течет и ширится калмыцкая песня, повествует о былом и смягчит сердца былых наездников. Не один из них чувствует спазму в горле и не один смахивает украдкой слезу. То завыванье зимнего бурана по сухому степному ковылю, по камышевым зарослям, то нежный шелест ветерка по шелковистой траве слышится в калмыцкой песне.

Певцы продолжали песню, а разносчики стали подносить. Когда кончили круг, Дамба Дударович, хозяин

дома, приказал налить еще одну чашку раки и ласково обратился к Бадне:

— А ну-ка, зятек, мой сын прекрасный, поднеси мне, папаше, с песней, порадуй старика. Хотя ты и вырос, учась в русских школах, но танцевать по-своему умеешь славно, но танцы наши меняются, и деды танцевали не так... В теперешних танцах чувствуется влияние казачка, а вот песни наши неизменны, душа народа сохранилась в наших песнях... Посмотрю, как ты сохранился в нашей песне!

— Правильно! Правильно! Пусть жених споет тестю! — зашумели кругом. Жениху ничего не оставалось, как принять чашу, встать и подойти к тестю.

— Не робей, Бадня! Ты только начни, какую там знаешь, а мы уж тебя поддержим, — ободряли его товарищи. Но Бадня не умел петь ни одной калмыцкой старинной песни, кроме той, которая поется на празднике «Цаган». Под ее мотив он набросал недавно несколько рифмованных куплетов, описывая свою родную станицу, и он решил спеть эту собственную песню тестю.

Голос у Бадни был густой, сильный и приятный.

«Темән толга-дер гархень,
Теег бютәкче Богшрганкен.
Теегин эзен Богшрганкен
Тенгер болсен ламта!..»

Смело затянул он. Готовившиеся поддержать товарищи, услышав незнакомые слова, смущенно замолчали. В комнате настала тишина, которую прорезал мощный бас Бадни.

— В-а-а-дь!.. Вот, молодец! Правильно, нужно прославлять свою станицу, нашу мать-степь, святого Ламу, — проговорил тесть, ободряя зятя. По мере того как Бадня пел, лица у всех начали краснеть и глаза блестеть возбуждением. Видно было, что песня Бадни хватает их за живое, что она интересна и приятна им.

«Салиын гол-деер сюртә,
Сәәхен өнер Богшрганкен.

Сяахен өнер Богшрганкен,
Сальск округин залмдже . . .»

В переполненном доме не раздавались ни слова, ни единого кашля. Гости, незаметно для себя, приняли гордые, петушинные позы, выпячив груди и упершись руками в бока.

«Богла гол-деер сюртă
Буйн кишгте Богшрганкен.
Буйн кишгте Богшрганкен
Бурхун тогтехсон хурулта! . . .»

— Вот так песня! Да, где ты научился ей? Не слы- хивал такой! — волновался тесть. — Пой, пой дальше!..

Но, тут Бадня, памятуя поучения матери на этот случай, опустил перед тестем на одно колено и обе- ими руками почтительно поднес тестю чашу раки.

Дамба взял и стал ждать конца песни. Когда Бадня, постепенно сведя песню на полуголос, закончил ее, гул одобрения пронесся по комнате. Хотя песня была и не старинная, но она говорила про ныне существующую станицу, про ее хутора, про речки и балки, на которых эти люди живут, про ныне живого Ламу, про обилие и довольство всех, она хоть на миг заставляла забыть происходящую кровавую войну, уносила их от грохота пушек и пулеметов. Когда шум утих, Дамба начал свое отеческое благопожелание:

— Ну, будь, мой дорогой сынок, многолетен и здоров. ~~Хоть~~ и учился ты долго в русских школах, воспитывался в русском духе, но вижу, что не оторвался ты от родного народа, не потерял калмыцкую душу. Вот это- му я очень рад! Хоть ты и пренебрегаешь некоторыми нашими обычаями, но в главном ты сохранился. Будь хорошим стариком-калмыком. Помни, что гласит наша народная мудрость: «Плоха та девочка, которая не чинит старья, и плох тот парень, который не думает о старине». Спасибо тебе за песню и будь здоров, счастлив! — с этими словами Дамба торжественно, медленно, словно песня зятя и его речь улучшили вкус раки, с

явным наслаждением выпил раку, вернул Бадне чашу и заставил допить оставшийся в ней глоток, чтобы благопожелания тестя, высказанные за этой чашкой, впитались бы в нутро жениха.

Попели еще немного, потанцевало еще несколько любителей, пошумели, поострили, и гости начали любезно прощаться. Была уже ночь, путь был не близкий, а на другой день сваты должны вернуться с главной свадьбой.

С песнями поднесли гостям стремянную и стали провожать. И хозяева и гости были пьяны, но тащить на ширдыках никого не пришлось, ибо кампания была хорошо подобрана. Четыре носовых платка успел напитать водкой Бадня, вливая в них тайком последние, самые большие глотки водки и потому он был трезвее всех.

С веселыми песнями, свистом и криком, бешеной скачкою по широким улицам вернулась ночью женихова кавалькада домой. Родственники Бадни все были рады и горды им, что он так умело и славно держал себя у тестя, не ударил лицом в грязь, не посрамил родню, несмотря на то, что воспитывался в русской школе.

ДЕНЬ ДО СВАДЬБЫ

На другой день, с утра, у Пурве начали снаряжать свадебный выезд и едва к обеду справились. Выезд был внушительный: девятнадцать верховых при женихе, десять тачанок парами и тройками, да четыре брички, нагруженные угощениями и подарками.

Скудное уже было время, но богатый Пурве поставился свадьбу единственного сына справить как следует. Хоть и пришлось переплатить, но нашел и купил все. Старшиной свадьбы был речистый, выдавший виды старый урядник, знаток старинных обычаев и церемониалов, Цебек Мангатов, дядя матери Бадни. Лихая тройка рыжих в новенькой тачанке Цебека Мангатова

помчалась во главе вереницы свадебных подвод, сейчас же за верховыми.

Среди лиц, приехавших на свадьбу Бадни, были знатные и почетные гости, каких не на каждой свадьбе можно увидеть: министр пропаганды Донского правительства Бадьма Уланов, помощник Сальского окружного атамана есаул Апелев, с рукой на перевязи, хорунжий Зюнгарского полка Шалвур Ниминов, несколько студентов дербетов и бузавов. В мирное, нормальное время о такой свадьбе говорили бы годы.

Прибыли к Дамбе уже вечером и в его простором току расположились лагерем, поставив подводы в круг. Посредине круга — «хоша» — развели большой костер и вокруг него разостлали белые ширдыки и полсти. Такое расположение обязательно по традиции, и всякий, кто пожелает, независимо от положения и состояния, может придти, сесть и приветствовать: «Во здравии ли прибыли? Пусть благополучие принесет вам место сие». И ему непременно поднесут чарку водки. Этим обычаем злоупотребляют обыкновенно любители выпить лишнее, старики преимущественно. Десятки людей могут придти с этим приветствием — «благословить хош», пока не внесут все привезенное угощение в дом свата, и водка, выпитая здесь, не идет в счет условленного к поставке количества. Это — помимо.

Старшина свадьбы решил вносить угощения после полуночи, со вторыми петухами, чтобы к завтраку, к назначенному часу увоза невесты, успеть покончить со свадебными угощениями, подарками и прочими церемониями.

**
*

Зиндя проводила последнюю ночь в кругу своих подруг. У нее эту ночь — прощальная девичья вечеринка, на которую допускаются только самые ближайшие подруги, а из мужчин только молодые и любимые ею родственники.

Этой ночью, на этой вечеринке, она вольна от строгих девичьих правил и условностей старины: тут невеста может немножко и выпить, чтобы язык развязать, покурить, откровенно поведать братьям, сестрам и подругам свое горе или радости, попрощаться со своими, от души вольно попеть, поплясать, вообще — повеселиться.

Тут только свои, близкие, которые не осудят ее, навеки покидающую родной дом и семью; тайна этого вечера обеспечена. Хороший этот вечер, веселый, свободный, непринужденный для всех участников. Выпивается здесь в небольшом количестве заранее приготовленные хорошие напитки — сладкие вина, угощают лучшими конфетами и пряниками, курят лучшие сорта папирос. Для этого вечера Бадня поискал в Ростове и Новочеркасске и купил по дорогой цене самые лучшие вина и конфеты, чтобы не осудила его Зиндя и ее ближайшие подруги и родственники. Самого Бадню или его товарищей и близко не пустят на эту вечеринку.

Танцы сменяют песни, играют во всякие забавные игры, неутомимо лепечет домбра, гремит двухрядная гармония, под веселые песни, взрывы смеха и шумливый говор.

Только под утро расходится невестина вечеринка, и невеста с ближайшими подругами, по-традиции, скрывается.

Зиндя, после разрыва с Бадней, многое передумала, внимательно выслушивала поучения матери и перестала пренебрегать обычаями и навыками своего народа, сознательно повела жизнь обыкновенной девицы-калмычки, и у нее среди простых станичных калмычек завелись хорошие подруги — наивные, добрые и честные.

Вечеринка Зинди была истинным весельем для всех собравшихся подруг и молодых родственников. Зиндя поведала на ней, как она любит своего жениха, какой он хороший парень — горячий, честный, но буйный. Рассказала она и о былой размолвке, рассмешила сценами его ревности всю молодежь, а главное, поделилась своим счастьем, что не дала умничающей Це-

цене отнять у нее жениха. Счастье невесты радостно наполнило сердце всех присутствующих, и веселье шло во всю молодую прыть.

СВАДЬБА

А в доме Дамбы не спали всю ночь. До полуночи ужинали, болтали с своими гостями, съехавшимися из разных хуторов и станиц на свадьбу по обязанности родственников, а в полночь пришел с четвертой бутылкой водки и ящиком леденцов старшина свадьбы Цебек, за разрешением — вносить свадебное угощение и подарки.

Дамба и его родственники живо распили водку и дали согласие. Со вторыми петухами женихова сторона начала вносить все, что было привезено. Зала едва вместила все, что натаскали сваты. Десятки ящиков конфет и пряников, туши мяса, множество четвертных бутылок водки, десятков мешков сушек, кренделей, булок, тюки кирпичного чая, тулумы с мануфактурой и готовыми бешметами, множество калмыцких старинных сосудов из прокопченной и разрисованной кожи с калмыцкой ракой, загромождали все помещение.

Двое молодых парней из ближайших родственников Дамбы проверили все внесенное, чтобы удостовериться все ли, согласно уговору, привезено. Это не жадность, а традиция, имеющая символическое значение. Полагают, что, если сваты не сполна привезут обещанное, то неполным будет и счастье невесты, а кроме того, проверяется и верность сватов данному слову.

Наконец проверка благополучно кончилась. Старшина свадьбы Цебек облегченно вздохнул, ибо первая пощечина за неточность полагается ему. Все оказалось налицо, все строго, выдержано по уговору, а водки оказалось на один сосуд даже больше.

Дамба, узнав, что все в полном порядке, разрешил приступить к свадебной трапезе и раздаче подарков.

Спешно оповещенные соседи шумной гурьбой валили во двор Дамбы и заполняли весь дом.

Распорядители распечатали один ящик, развязали один мешок, распечатали одну четвертную и, положив на тарелки всего съедобного понемногу, поставили перед Бурхан — в знак того, что «все это обилие — по милости богов, и мы это не забываем».

После того стали наполнять чаши и тарелки всеми видами привезенной еды и ставить перед каждым, начиная с хозяина и хозяйки дома, стариков и кончая гостями. Детям насыпали пряников и конфет прямо в шапки, полы бешметов, платки.

Тем временем другие стали разливать водку. Первую чашу, по обычаю, поднесли седому старику, старшему брату Дамбы, дяде невесты, сидящему выше всех, на самом почетном месте. Старик церемонно принял чашу и, макнув в нее безымянный палец, с благоговейным видом троекратно брызнул вверх и начал свое благопожелание:

— О, святые, множество богов и тридцать три неба! Да благословят они и прибывших и принявших на бесконечные дни благоденствия! Да воцарится на земле мир и честность. Наша Зиндмя, выращенная в тревоге и заботе родительской, ныне выдаваемая замуж по божьему вечному закону, по традиции матери-стаины, да найдет счастье человеческое и любовь в семье... И вы, сваты, дай Бог вам быть отныне добрыми родственниками. Помните, что месяц тому назад, когда кроили свадебные подарки, вы дали друг другу в этом крепкое слово, держась руками за клей, белый коленкор и конские жилы. Это означало: «Мы будем родственниками липкими друг другу, как природный клей, взаимные помыслы наши будут чисты, как белый коленкор, а слово наше крепко, как конские жилы»... Помните это и знайте — все то, что совершается в этом доме, естественно и законно есть, а потому и Богом благословенно. Недаром дедами нашими сказано: «Сокращающее дальнейшее расстояние есть конь — драгоценность; роднящая чужих людей девица есть — драгоценность».

В доме, набитом людьми, было совершенно тихо. Минута была торжественная. Все с вниманием слушали тост почетного старика и терпеливо ожидали конца его речи. Мать Зиндмы утиралась большим пестрым платком, привязанным сбоку ее халата, — тихо лила слезы радости и умиления.

А старик, видимо, наслаждаясь всеобщим вниманием, как будто он поднял голову и повеселевшим голосом добавил:

— Итак, да будет счастье и благо всем шести видам земных существ, пусть рождаются, множатся и растут дети, телята, жеребята и ягнята! — и медленно, держа края чашки обеими руками, с удовольствием начал пить. Все гости охотно последовали его примеру.

Начали пить и есть. Пили под холодную баранину, под бульон, подгорячую баранину, под говядину, под конину, под песни и — просто так. Уж весь дом гудел и шумел пьяным говором, песнями, визгливыми бабьими разговорами и перекличками, когда занялся рассвет и обе стороны начали обмениваться подарками — шелковыми, шерстяными и ситцевыми халатами, отрезками материй, платками, смотря по степени родства, возраста и почетности.

На отца и мать невесты, на дядю ее накинули шуршащие черные шелковые халаты — подарки жениховой стороны; невестина сторона поднесла жениху фрачный костюм. Всем гостям, по дальности родства не получившим халатов или бешметов, повязали через плечо отрезки материй в пять-шесть аршин длиною, мужчинам — пестрые, женщинам белые.

Началось обмывание подарков.

Когда совсем рассвело, и в доме потушили лампы, свадебный старшина Цебек приказал распечатать новую четвертную и, сам поднося чашу Дамбе, просил у него разрешения на вынос вещей — приданого невесты.

— Вещи будут выносить! Собирайтесь наши к дверям! — разнеслось по двору.

И скоро, когда мужчины жениховой стороны стали выносить из дому вещи, у дверей образовался коридор

из двух рядов молодых мужчин и женщин, которые, с шутками и прибаутками, награждали ударами плетей и кнутов выходящих с вещами сватов. В этом случае, соблюдая только традицию, должны бить полегоньку. Но между шутниками попадают и такие, которые ударят от души, так что кое-кому попадает и здорово. Обижаться и реагировать на «шутки» не полагается, так как этот акт направлен к тому, чтобы предотвратить зависть дьявола к счастью и радости сватов, получающих так много ценных вещей с прекрасной невестой.

Женихова сторона, в особенности свадебный старшина, несмотря на всенощную гульбу, не были пьяны, они не забывали свое дело и времени не теряли.

Когда все было вынесено и уложено на трех бричках, Цебек скомандовал:

— Ищите, наши парни, невесту, везите ее сюда на последний поклон родительскому очагу! Пора наступила!



Между тем смеющееся осеннее солнце на далеком степном ровном горизонте успело отделиться от земли и зазолотило легкий утренний туман над станицей по долине речки Куберле. Станица проснулась, и ее жители спешно сгоняли скот и овец к пастухам, собирающим свои стада на окраинах хуторов.

Утренний воздух был легкий, чист и прохладен. Далеко по станице разносился утренний шум — мычанье коров, блеянье овец, трели жаворонков или однотонное кукованье удонов на кизячных скирдах.

В стороне от Дамбова хутора, против его двора, покуривая трубки, сидели на корточках пять-шесть пожилых мужчин и, после пьяной ночи наслаждаясь свежим воздухом, любовались одной из милых их сердцу картин утра в калмыцкой степи. Несколько десятков беленьких, чистеньких, поздних барашков, шаловливой кампанией отделившись от скученной отары, со-

стязались в быстроте и ловкости. Словно по команде, один за одним, смешно виляя маленькими пушистыми хвостиками, прыгали они в глубокую круглую яму, где месили летом саман, и наперегонки выскакивали обратно. Мимо них пронеслись две тачанки и бланкарда, сопровождаемые верховыми молодыми людьми. То, женихова сторона поскакала в поисках невесты.

После своей интимной вечеринки, Зиндя с подругами ушла к утру в дальний хутор и спряталась в амбаре своего дальнего родственника, убедительно попросив хозяйку никому не открывать ее убежища. Этого требовал обычай. Считается неприличным девице проявлять открыто радость или даже равнодушие по случаю выхода ее замуж. Она должна всячески показывать, что всеми силами и возможностями сопротивляется и что только воля всего рода лишает ее свободы и родной среды.

Но за девицами еще с вечера незаметно следили специально отряженные для этого парни от жениховой стороны, так что найти их в условленный час не стоило труда. Прячущейся невесте редко удастся обмануть бдительность сторожей и спрятаться так, чтобы сваты в панике метались по станице, не зная, где ее искать.

Когда подводы подкатили к дверям амбара и барышням предложили выходить и садиться, невеста тоненьким и жалобным голосом заплакала, обнимая ближайшую подругу. За ней заголосили и заплакали все подруги, и амбар наполнился плачем пяти-шести девиц, со всех сторон крепко обнявших Зиндму, никому не желая ее отдавать. Любила Зиндя жениха, с радостной тревогой и нетерпением ждала свою свадьбу, не собиралась она плакать, но в этот миг какое-то сожаление проникло в душу, и слезы сами собой брызнули из глаз.

Приехавшим пришлось зайти в амбар и силой разнимать клубок из обнявшихся девиц и на руках выносить их и сажать на подводы. Впрочем, нельзя было сказать, что молодые люди делали это без удовольствия.

Через полчаса невеста с подругами была привезена в родительский дом и, не прерывая голосистого, за душу хватающего плача, по приказанию заплаканной матери, прикладывалась к родительским Бурхуд и сделала прощальный глоток молока родного очага, навеки ею покидаемого.

Плач девиц, песни и выкрики пьяных мужчин, возбужденных родственным чувством жалости к Зиндме, причитания и благословения матери, плачь сестры и брата, все слилось в один многоголосый шум и гам.

Стараясь сдерживать волнение, бывалый Цебек громко скомандовал:

— Наши парни! Выводите невесту, сажайте ее на коня! Не робейте, ничего, что плачет! Ягненку много приходится бляеть, пока не станет овцой, а девице много плакать, пока не станет хозяйкой!

По его команде четыре человека подошли к девицам, отделили невесту от вцепившихся в нее подруг и, двое, взяв ее под руки, повели к дверям. Двое других задерживали рвущихся за Зиндмой ее подруг.

А на дворе, у дверей дома, стоял великолепный серый конь под седлом в серебряном наборе, с красным расшитым чепраком. Это был любимый конь Зиндмы, которого Дамба ей подарил сверх обычного. Выдать дочь на собственной лошади или собственной подводе считается особым шиком. Невеста, прибывшая на собственном коне, более почетно встречается в доме жениха.

Позади седла, на крупе лошади, сидел мертвенно-бледный с дрожащими руками и ногами Аюш, которому предстояло самое опасное и ответственное дело в свадьбе — вывоз невесты из родного дома. Находясь в таком положении, он должен удерживать в седле невесту, которая изо всей силы будет рваться, чтобы выскочить из седла и упасть на землю. Если он не справится с задачей и упустит невесту на землю, то родственники ее, десяток мужчин верхом, обступив его, избьют плетями «до забвения рода-племени».

Страшное это дело. Каждый мужчина, какой бы он ни был силач, боится этого, ибо упустить невесту с коня — величайший позор для мужчины, что учитывается больше, чем бесчисленные удары плетей. «Рана от плетей заживает, но рана от позора нет», — говорят калмыки в этом случае.

Но в это же время ни один уважающий себя мужчина, на которого выпал выбор, не может отказаться, потому что год этого человека определяется Ламой в священной книге, против отказа — традиция старины, тут задета честь мужчины, а благополучный исход делает его в доме жениха почетным гостем, ему принадлежит первая чарка с песней от молодой хозяйки.

В голос плачущую Зиндму вывели из дому, подвели к коню и поддали на седло. Аюш накрыл ей голову широким желтым шелковым полотнищем, левой рукой обнял девицу, а правой вдел ногу ее в стремя. А потом, обняв ее правой рукой, левой вдел ногу Зиндми в стремя и, вмиг, как клещами, придавил обе ее ноги в стремях своими ногами. Затем он обнял девицу обеими руками и, срывающимся и хриплым голосом, приказал трогать.

Две красивые молодницы, в пестрых шелковых безрукавках, в кокетливо надвинутых набекрень расшитых золотом джатаках, со специальной для этого момента песней: «Газер усень шуугна, ганцхен модень гевнә!» — повели танцующего и храпящего ноздрями серого красавца за чумбур и повод.

Зиндмя, лихая наездница и здоровая и сильная девица, знала не только, как самой вырваться и свалиться с седла, но знала и все приемы, как свалить человека, сидящего на крупе лошади и держащего ее. Поэтому, как только тронулся под нею конь, когда плаксивое благословение матери, песни молодниц и возгласы мужчин слились в общий шум, Зиндмя, не переставая плакать и качаться из стороны в сторону, привстала на стремях и начала подавать корпус назад, наваливаясь всей тяжестью на Аюша.

Когда Аюш, достаточно ею опрокинутый назад, потерял равновесие, она качнулась вправо и влево, еще сильнее, качнулась влево. Ноги Аюши, давившие ее ноги сами собою разошлись, и он, к своему ужасу, почувствовал, как тянет он на себя невесту и вместе с нею начинает валиться с коня.

— Держи! Держи крепче! Не упусти! Погибнешь, умрешь, кровь будешь лизать, несчастный! Зачем ты брался, если не умеешь сидеть на коне? — закричали родственники невесты и один, наиболее горячий, потянул его плетью по голове. Чувствуя, что настанет конец, Аюш взмолился:

— Сестрица, Зиндя, не губи, во век не забуду, окажи милость, не падай, убьют!

И вдруг, к его невыразимой радости, невеста с плачем нагнулась вперед, ослабила упор ног и, будто в изнеможении, села в седло и только туловищем стала качаться в сторону, якобы, не имея сил вырваться.

Аюш в миг укрепился на свое место, левою рукою крепко взялся за торочинный ремень и только правою рукою стал придерживать невесту. Он облегченно вздохнул и понял, что невеста плачет и бьется без умысла и что она не хочет его избиения на своей свадьбе.

Ему нужно проехать так приблизительно версты две, до первой остановки, после чего провожавшие свадьбу станичники и родные невесты, за исключением одного мужчины и одной женщины, назначенных провожать до женихова дома, возвращаются домой, а дальше невеста уже сама возьмет поводья в руки и поедет самостоятельно.

Но, до этой остановки невеста еще раза два чуть-чуть не свалила Аюша с коня, но каждый раз, как только он начинал терять равновесие, она незаметным движением ослабляла свои усилия и давала Аюше возможность укрепиться на крупе.

Аюш, не без оснований считавший себя силачем, первый борец в своей сотне и лихой джигит, обливался потом и был сильно смущен. Он чувствовал, что не-

веста просто играет с ним, не сбрасывает его с коня только потому, что не желает его позорить, что она щадит его.

Верховая часть свадьбы, больше десятка всадников, развеяв над головой невесты белый свадебный флаг, с ровной и звенящей песней молодежи ехала впереди подвод, длинной и шумной вереницей растянувшихся по гладко укатанной осенней дороге. На передней тачанке, с видом полководца, выигравшего сражение, сидел свадебный старшина Цебек. Вот он взмахнул платком и конные остановились, слезли с коней и сели в круг на зеленую траву. Начали подъезжать одна за другой подводы и люди стали сгущать круг.

Осеннее солнце щедро лило свет и приятно грело. Легкий, еще не холодный ветерок ранней осени рябил зеленую равнину и, под аккомпанимент трели жаворонков лилась спокойная радостная степная песня:

«Ховнинтен хулсиге хөврэд угаднь кюрие».

Внутри круга сидели родственники невесты, проводжавшие свадьбу станичники. Из большого черного кожаного сосуда стали наполнять ракой желтые деревянные чаши и, под песни четырех песенниц двое стали разносить. Эта — одна из последних обрядовых почестей во всей свадебной процедуре. К этому моменту настроение людей успокаивается, недавней возбужденности нет уже и следа, мужчины обеих сторон мирно беседуют, делятся долей раки, ближе знакомятся, весело поют и говорят взаимные прощальные пожелания.

Невеста уже не плакала. Ей дали умыть лицо, она была смущенно спокойна, заплаканные глаза еще блестели слезой, щеки румянились, и была она мила той прелестной красотой и скромностью, какая бывает на лицах девиц, увозимых свадьбой и уже внутренне примирившихся с судьбой.

Бадня стеснялся смотреть на свою невесту, но взоры помимо его воли устремлялись в ее сторону, и он, заметив шутливые взгляды своих товарищей, в смущении отворачивался. Зиндя в эти минуты, как никогда раньше, казалась ему неземной красавицей.

Когда чаши обошли круг, старшина свадьбы подал знак садиться и трогаться дальше. Все поднялись и стали рассаживаться по подводам и садиться на коней. Зиндме подвели коня, она сама взялась за поводья, молчаливо и ласково погладила морду своего родного и любимого коня, без посторонней помощи села и, вправив полы бешмета под стременные ремни и седельную подушку, поправив рукою свою длинную темнокаштановую косу, тронула коня.

Весело и шумно тронулась кавалькада и взяла с места на рысь. Невеста сидела в седле красиво и крепко. Глядя на ее стройную фигуру, Бадня едва сдерживал возглас восхищения и нарочно несколько отстал, так как лицо его невольно то и дело расплывалось в блаженную улыбку. О былом огорчении, причиненном ему Зиндмой, он уже позабыл. В эти минуты он был счастливейшим человеком на земле.

На всех подводах радостно тянули песни. Живо катилась свадьба к хутору Богла. Через час свадебный кортеж опять остановился, чтобы на придорожном большом кургане вспрыснуть дорогу, теперь уже своей семьей, без надобности кого-либо угощать.

Когда были от Богла в семи-восьми верстах, старшина свадьбы вынул из-под сиденья своей тачанки четырехугольную обшитую розовой материей тонкую полсть — надподушник (традиционная принадлежность постели невесты, ныне уже не употребляемая калмыками) и протянул ближайшему верховому. Тот схватил, закрутил розовым квадратом над головой и с криком:

— Догоняйте, у кого кони добрые! — помчался во весь дух вперед. За ним ринулись верховые — все, кто хотел испробовать резвость своего коня. Взявший надподушник, стараясь никому не давать, должен первым прискакать к кибитке жениха и кинуть его в дверь. Эта — первая радостная весть для всех ожидающих, что все обошлось благополучно и что свадьба уже недалеко. Привезший эту весть — почетный гость. Так как каждый догнавший берет надподушник и скачет дальше, то последняя лошадь, которую ни одна не до-

гнала, считается победительницей свадебной скачки, и слава про нее далеко разойдется по калмыцким хуторам.

**
*

Новая кибитка Бадни, битком набитая гостями, гудела и шумела веселыми пьяными голосами в ожидании невесты. Всем, и старому и молодому, хотелось взглянуть на невесту, когда она будет подъезжать к кибитке жениха. На этот раз охотников было больше, потому что Зиндя была из другой станицы и славилась красотой. Одни входили в кибитку, другие выходили и все смотрели в ту сторону, откуда должна была показаться возвращающаяся свадьба. Больше всех бежал и суетился грузный Пурве.

— Еду-у-т! Едут! Надподушник! Смотри, смотри, это Хапур на своем буланом! — закричали и загалдели дети на амбарах и сараях.

Все бросились из кибитки, и воздух огласился криками: «Ура-ура! Ура-ура!!! Ай да Хапур, ну и конек, маленький, да удаленький, вот так конь, всех обогнал! — перебивая друг друга, заговорили и загалдели все.

Молодой Хапур, усиленно размахивая над головой подподушником, с радостным и возбужденным лицом, гордый и опьяненный своей победой, дико затянув какую-то песню, обскакал двор Цагаковых, по традиции — слева направо, на взмыленном, тяжело дышащем буланом киргизском маштаке и, на всем скаку у кибитки осадив его, швырнул надподушник в дверь и сам спрыгнул с коня.

Счастливый отец Бадни, со слезами на глазах, обнял Хапура и просил его войти в кибитку. Уланка, еще ночью вернувшаяся домой, утирая слезы радости боковым платком, налила Хапуру чашу холодной раки и упростила его выпить. А хуторские мальчишки, подхватив чумбур буланого победителя, с восхищением стали прохаживать его, гордясь, что имеют честь водить такую славную и резвую во всем хуторе лошадь.

Больше всех хлопот и забот выпало на долю матери Бадни. Одному нужно было налить водки, другому чаю, третьему не забыть предложить баранины, в то же время готовить угощение сватам, которые приедут всего двумя-тремя часами позже свадьбы, а также приготовить все для церемониала приема невесты в дом. Старшей невестки у нее не было, а Эрвни не была еще опытной помощницей, поэтому одной приходилось ей разрываться на части в своем большом хозяйстве, взбудораженном необыкновенным событием. С ног сбивалась Уланка от усталости, но была радостна и оживлена счастьем матери, выводящей в люди сына первенца.

— Свадьба уже за бугром! Скорее посылайте встречный «аадем», — тоном приказания сказал Халпур, возвращая хозяйке чашку. Еще больше засуетилась и забегала Уланка. Из мягкой желтой сумки бараньей кожи набрала она пригоршню сухих выжимок вареного кумыса, высыпала их в красную деревянную чашку, положила туда несколько ложек сметаны, перемешала все и дала верховому, который помчался навстречу свадьбе. С этой чашей он должен встретить невесту на ближайшем кургане и дать ей поесть — в знак того, что в доме мужа ожидает ее сытость, довольство и радость.

Толпа ожидающих у жениховой кибитки снова зашумела и взволновалась. По главной улице хутора, медленно, позванивая удильными кольцами, под песню двух молодых по бокам ее, в сопровождении десятка верховых юношей, с высоко развевающимся белым флагом над головой, впереди целой вереницы тачанок, приближалась Зиндя ко двору Цагаковых.

Она была в бледно-розовом бешмете, туго подпоясана золотым позументовым кушаком с литой массивной серебряной пряжкой кавказской работы. На голове, слегка набок, была надета бордовая бархатная круглая шапочка, расшитая золотыми лавровыми листьями, с свисающей красной, густой кисточкой. Зиндя была божественно красива, сидя на картинно гарцующем чудном бело-сером коне под алым чепраком.

В немом восхищении замерла ожидающая толпа. Только растроганный Пурве Цагаков, утирая слезы радости, шептал:

— Деточка чудная, как солнце утреннее, умытое росой, сверкаешь ты, неся радость и свет в мой мрачный дом...

Невестина кавалькада остановилась у правого порога кибитки и две молодницы помогли невесте слезть с коня. Свадебный флаг, с написанными на нем тибетскими буквами-благословением Ламы, воткнули у правого притолка двери. Невесту и жениха ввели в кибитку. На левой стороне кибитки подостлали их венчальные подстилки-ширдыки и, усадив рядом, накормили из одной чаши пшенной кашей, как указал Лама.

— Это означает, что отныне наше счастье будет в одной чаше судьбы, и дай Бог нам размножиться подобно пшённому зерну на благо желтолицого народа, — так пояснил смысл этой церемонии Бадьма.

Потом невесту подвели к ее низкой, прямо на земле постланой, брачной постели и посадили за закрытый со всех сторон пестрый балдахин. Там она безвыходно должна сидеть в обществе девиц-родственников или соседок жениха до тех пор, пока не приедут вслед за свадьбой и не уедут ее родные, пока не расплетут потом ее девичью косу и не наденут на нее цегдык — наряд замужней женщины.

Как только Зиндму завели за ширму, Эрвни радостно бросилась обнимать и целовать свою любимую подругу, ставшую теперь женою ее единственного брата.

В кибитку внесли все невестины вещи-приданное. Сундуки отмыкались, одежда развешивалась, вещи расставлялись. Все любопытные могли смотреть, щупать, хвалить, расценивать, поздравлять и обмывать вещи. Часа через два приехали родные невесты, и женихова сторона принялась за последнюю церемонию свадьбы, связанную с угощением сватов. И это продолжалось до ночи.

Перед отъездом мать Зиндми вывела дочь из кибитки, отвела в сторону, в уголок двора и что-то та-

инстинктивно шептала ей о тайнах первой брачной ночи. К удивлению матери, Зиндмья ответила ей, что она знает об этом.

— Откуда? — в страхе прошептала мать.

— Читала в книгах, — ответила дочь.

— О святые! Разве можно о таких вещах в книгах писать? Что за развратный народ эти русские — в книгах пишут о таких вещах, чтобы девочки читали! — сокрушалась Юлга, целуя и лаская дочь на прощание.

Потом она вслух дала свои поучения относительно поведения дочери в доме новых родителей в смысле почтительности и заботливости к старым, покорности и усердия в работах. Наконец она объявила: «Дождь как бы ни лил, а перестает, а гости, как не милы, уезжают». Это означало, что гостям пора уже возвращаться домой.

Допьяна напоенные и до отвала накормленные, гости с песнями и галдежом стали садиться на подводы, чтобы к полуночи быть уже дома. Бадня положил в карман бутылку водки и сел на серого красавца Зиндми, чтобы проводить гостей за бугор.

К полуночи свадебное возбуждение улеглось, цагаковские гости уморенные сутолокой прошлых дней и ночей, разъезжались по домам.

Немедленно после отъезда гостей-сватов, три-четыре молодницы, соседки Пурве, расплели Зиндме девичью косу, расчесали жениховой расческой ее волосы, заплели в два жгута, заправили их в черные шелковые сумочки — «шиверлеки», свисающие по груди, надели на нее рубашку-распашонку, сверху халат и безрукавку с богато расшитой грудью. Поверх всего этого опять надели на нее девичий бешмет, чтобы в первое время не смущал Зиндму ее новый наряд. После этого повели ее в дом Пурве на поклон родовому очагу.

Вели молодницы юную невесту по двору и радостно говорили:

— Как хорошо иметь дело с умной, интеллигентной девицей — без драки и слез дала расчесать и заплести волосы, а то наши простые девицы целый бой дают,

руками и ногами бьются, иногда десяток человек приходится звать, чтобы расплести косу. Зря это, ведь, все равно, расплетут. Зиндя — умница, спасибо ей...

У порога дома Пурве дали в руки Зиндме кусок сырой баранины и полбутылки водки, для угощения родителей мужа. Здесь поставили ее на колени и обнажили голову. А в комнате, на белом ширдыке, с торжественным выражением на лице, сидел ее свекорь Пурве и громко командовал:

— Всем богам и святым духам-покровителям рода моего да поклонится наша невестка!

— Кланяется! — отвечали снаружи, заставляя Зиндму наклонять голову и кланяться.

— Духу моего очага да поклонится!

— Кланяется!

— Духам моих прародителей и родителей да поклонится!

— Кланяется!

— Мне, Пурве, моей жене, Уланке, да поклонится!

— Кланяется!

— Всем моим старшим родственникам и всем родственникам моей жены да поклонится наша невестка!

— Кланяется!

— Пусть войдет в дом мой моя невестка! — закончил Пурве обряд поклонения.

Зиндя надела шапку, взяла огонь, робко, с потупленным взором вошла в дом, положила огонь в печку, наскоро раздула в ней огонь и, налив в рюмку водки, поднесла свекору.

Пурве долго и напыщенно благословлял ее на счастливую жизнь, обещал любить и жаловать, как родную, и с наслаждением выпил первую чару из рук невестки и положил в рюмку золотую десятирублевку — первый подарок Зиндме.

— Пусть вечно и ценно будет твое имя в роде моем, как вечно и ценно есть золото, — проговорил он традиционную фразу. За ним получила из рук Зиндми водку Уланка, которая, осушив рюмку, с такими же словами положила золотую пятирублевку.

После этого Зиндмя опустилась на колени у печки, и ей подали в желтой деревянной чашке «аадем» в сметане, как праматерь калмыцкой кухни, и зазвали старого дворового пса. Молодая должна была откусать и остаток отдать собаке, выражая этим, что она верна будет дому сему и служить ему будет, как эта верная собака.

Все церемонии закончились. Зиндму привели обратно в ее кибитку и, втолкнув туда слегка упирающегося Бадню, заперли двери, завязали снаружи и отошли...

Минут через десять, в темноте ночи, на цыпочках подошли к кибитке темные силуэты человеческих фигур, которые, приложив уши к кибитке против постели новобрачных, застыли, притаив дыхание.

Когда в кибитке раздался испуганный и удивленный крик Зиндми, черные тени так же бесшумно побежали прочь и скрылись в ночной темноте...

На другое утро, когда Бадня привел к колодцу на водопой своего рыжего «Бюргеда» и белого «Човура» Зиндми, встретившаяся с ним соседка-молодица с усмешкой приветствовала:

— Здравствуй, атаман!

Когда Бадня вел коней обратно, встретился недалеко от их двора соседский сын и громко скомандовал:

— Смирно! Атаман идет!

Бадня смущенно улыбался в ответ им. Молодого человека, женившегося на невинной девушке, несколько дней молодежь в шутку приветствует именем «атаман». Это значило, что все соседи, а от них целый хутор знает, что Зиндмя принесла жениху невинность.

Второй день для Зиндмы был днем приема молодых родственников и родственниц Бадни. Кипел и шумел на большом столе самовар, в тарелках были горы конфет и пряников, орехов и сушек. Окруженные десятком молодых парней и девиц, Зиндмя, Бадня и Эрвни радостно угощали гостей. После чая Зиндмя сделала им подарки. Девыцы получили кто шелковый платок, кто колечко, а парни носовые платки.

Только после этого для невестки начинается обыденная жизнь в доме мужа.

... Было тяжелое время кровопролитной войны Дона с красной Москвой. С тяжелыми боями, с великим трудом выгоняли казаки и калмыки врагов из родной земли.

Шумел и гомонил в Новочеркасске Круг Войсковой.

Побыв всего неделю дома, Бадня выехал в Новочеркасск.

ГЛАВА 13.

Был серый, слякотный февральский день 1920 года. Широкие улицы Екатеринодара были густо забиты подводами беженцев, калмыков и казаков, перед нашествием большевиков покинувших среди зимы родные пепелища. В самой гуще медленно продвигавшихся подвод, на бричке, запряженной парой исхудалых коней, сидел Бадня Цагаков. Сзади него, закутанная в дубленый бараний тулуп, с обветренным, загорелым лицом, сидела Зиндя. Разгоняя в стороны беженские подводы, ломая оси калмыцких возилок, проходила какая-то батарея пушек, запряженных многосаженными веренищами до ушей вымазанных в грязи лошадей. А за нею двигался казачий полк.

Вдруг из рядов полка выехал молодой офицер и, широко улыбаясь, направился к бричке Бадни.

— Здорово, Бадняша! — воскликнул он, вплотную подъехав к его бричке.

— А-а-а! Васенька, дорогой, давно-давно не виделись! Вот где пришлось встретиться! Здравствуй, здравствуй, доблестный воин! — заорал в ответ Бадня. Друзья, один привстав на бричке, другой нагнувшись с коня, обнялись и радостно расцеловались.

— Ну, как дела, Бадня? Я читал: ты речь держал интересную на Круге! Молодец, мысль твоя была хороша, да жаль, кажется, верхи на нее не обратили внимания.

— Как видишь, если посчитались бы, мы здесь неплыли бы в болоте. Пошли по большой Московской дороге, а теперь — дай Бог ноги... — раздраженно и с горечью ответил Бадня.

— Да, правильно, наши верхи не посчитались с желанием казаков на фронте, очень жаль... Когда теперь дело поправим? А какие новости вообще, что в сферах говорят? Ты, наверно, в курсе? — спрашивал Василий Гречанкин.

— Дела плохи вообще.

— Ну, как ты сам?

— Плохи и мои дела. Недавно при дороге похоронил отца, позавчера попали в плен мать и сестра, остался один с женою... Да, прости, я и забыл тебя с женою-то познакомить! Знакомтесь — моя жена, Зиндмя!

— Ишь ты, ловкач! Даже успел жениться, а я думал, что в наше время нельзя! — воскликнул Василий, пожимая руку Зиндме.

— Вот уже два года, как женат. Нельзя было не жениться, нужно было стариков моих осчастливить, да и жинка, как видишь...

— Вижу-вижу! Ну, до свиданья, дорогой! Живы будем — увидимся, на одной мы теперь дороге, а то я от полка оторвусь, — сказал Василий попрощавшись, стал пробираться сквозь массу подвод.

Мешанина подвод, пеших и конных беженцев и войска медленно двигались по Екатеринодару к Кубани. А вдали, где-то за бугром, слышны были разрывы снарядов наступающих красных. Они давили к мосту хозяев взбулгаченной степи.

Копошащейся, серой и грязной лавиной затопили казачьи полки и беженцы Екатеринодарский мост и, целые сутки томительно и медленно продвигаясь на другой берег, задерживали почти все калмыцкое беженство. Сотни подвод, с прокопченными серыми полостяными будками, полные больных детей, женщин и мужчин, беспорядочной массой стояли по всем улицам города, ведущим к мосту, в ожидании очереди. Только наиболее смелые и здоровые, не обращая внимания на брань и грозные окрики, иногда и плети, всяких подозрительных начальников, как будто умышленно вносивших сумятицу и тормозивших переправу, — протискивались вперед и, попеременно с частями войск, перебирались на ту сторону Кубани.

К вечеру, когда Бадня и Зиндмя еще были далеко от моста, неся на своих плечах разъезды красных, подошел к мосту Зюнгарский калмыцкий полк и провел за собою еще сотню-другую своих беженцев. Но тысячи их не успели перебраться. Надвигалась темная, голодная и холодная ночь под чужим небом.

Знакомые офицеры полка увидели Бадню и Зиндму и в испуге воскликнули:

— Да какого чорта сидите здесь на бричке, словно старые?! Сейчас же распрягайте коней, садитесь на них и присоединяйтесь к хвосту полка. Иначе останетесь тут, ведь красные через полчаса займут город!..

С этими словами знакомый хорунжий Ниминов спрыгнул с коня и начал помогать Бадне распрягать лошадей. Зиндмя живо развязала мешки, набросила кое-что из одежды на спину лошадей, надела свою дорожную беличью шубу и каракулевую круглую шапочку. Через несколько минут Зиндмя, Бадня и Ниминов присоединились к проходящей сотне Зюнгарского полка.

Командир полка полковник Тепкин, увидя Бадню и Зиндму на исхудалых и измазанных в грязи лошадях, козырнул им и воскликнул:

— Ага! Члены Круга — в строй? Давно пора!

— Смотри какая хорошенькая и нарядная сестричка в калмыцком полку! — крикнул какой-то подвыпивший офицер другому, увидя в рядах зюнгарцев Зиндму.

Калмыки-беженцы надеялись, что на Кубани казачья и белая армия задержит красных, и тогда можно будет вырваться вперед и в свободных кубанских станицах и хуторах найти хоть кратковременный отдых, пищу и кров. Но, расстроенные армии не сумели остановиться, а красная лава безостановочно двигалась вперед, без труда ломая слабые заслоны. Вслед за белыми и они перешли Кубань. Калмыцкое беженство опять принуждено было отступать попеременно с обозленными частями войск, относившихся к нему чуть-чуть лучше красных.

Окончательно обнищавшие и изголодавшиеся, кто пешком, кто на исхудалой кляче, иногда по два человека на одной, лишь немногие на подводах, везде и всюду обижаемые и теснимые, часто ночуя под открытым небом, умирая сотнями от тифа и голода, целыми партиями попадая в смертельный плен, без вести пропадая в дороге, утопая в горных речках, бросая больных, теряя друг друга, двигались калмыки самотеком к морю.

В сумятице и бестолковщине калмыцкое беженство разбилось в пути на две главные части и пошло двумя путями. Одна, следуя за Зюнгарским полком, пошла по горным ущельям к морю — на Ашэ, а другая, следуя за молодым, 3-м калмыцким полком, вдоль железной дороги пошла на Новороссийск.

Взяв Зиндму в середину, Бадня Цагаков и хорунжий Шалвур Ниминов шли во главе сотни и разговаривали:

Бадня спрашивал, а Ниминов отвечал.

— А как наши боглаевские ребята — члены «боевой группы», все ли живы и здоровы, помнят ли нашу идею об изгнании красных только за границы казачьих земель и об объявлении казачества самостоятельным государством? Маркусов-то тут?

— Маркусов был ранен под Ольгинской и эвакуирован. Если не остался где в лазарете, то, где-то тут с беженцами едет...

— А Мусов?

— Убит на Маныче...

— Дордже Ашланов, наш храбрец?

— Убит...

— Эрдне Михалинов?

— Убит...

— Опи Уланкинов?

— Убит...

— Бадьма Саранов?

— Убит...

Побледнев, широко открытыми глазами смотрел Бадня на Шалвура Ниминова и, грустно помолчав, проговорил:

— Бедные наши боглаевцы! Молодые и прекрасные калмыки, за что вы погибли? Значит, из старых мы с тобой только и остались? Я на Кругу имею несколько человек сторонников из старых казаков.

— Идея наша о казачьей независимости, как наилучшая защита от большевицкого напльва, принимается казачьей массой. У меня здесь много сторонников. Разговаривал я с казаками и офицерами соседних пол-

ков. Понимаешь ли, народ на это охотно идет, да только в Новочеркасске у вас мудрят и на Москву зарятся. Многим генералам хочется туда въехать на белом коне. Особенно, когда генерала Краснова сместили. Такую глупость закатили! Помнишь, какое он письмо послал, «как равный к равному», Вильгельму Второму?»... Я — выборный глава пятимиллионного народа...» Это очень нравилось казакам! — отвечал Ниминов.

— Да, «вышли мы на большую московскую дорогу» и покатались... и катимся в пропасть. Будет — ни Москвы, ни Дона. Меня же на Кругу за чудака сочли! Казаки-то поймут, на чем они поскользнулись, да трудно будет поправить. Но мы будем продолжать, не правда-ли? — с тревогой в голосе спросил Бадня.

— Конечно, если уж не поздно. Эта идея единственная, и масса это понимает, а вождь найдется со временем, — твердо отвечал Ниминов.

— Теперь, Шалвур, во что... Время такое, не знаешь, что с тобой завтра станет. Так дадим друг другу слово: в память погибших наших боевых и идейных товарищей, несмотря ни на что, в меру наших скромных сил, будем работать во имя нашей идеи. Хорошо?

— Есть! Довольно об этом. Ты лучше скажи, как это Эрвни сдали зверям? Бедная девушка, что с нею теперь? — блестя увлажненными глазами, с нескрываемой горечью спросил Ниминов.

Бадня, удивленно уставившись на товарища, не нашелся сразу, что ответить. Заметив смущение мужа, вмешалась Зиндя:

— Да она с мамой ехала на другой подводе. Ночью отбились от нас и пошли за другой группой, по кружной дороге. Там их всех нагнал большевицкий разъезд. Только двое парней ускакало.

Ниминов глубоко вздохнул, глотая слезы. Долго он ехал молча. Молчал и обычно говорливый Бадня.

— Вы как? Будете отступать с полком нашим или присоединитесь к беженцам? Наш полк на Новороссийск не пойдет. Будет идти по горам и выйдет где-то да-

леко восточнее Туапсе на побережье? — спросил, наконец, Ниминов.

— Мне кажется, лучше ехать на Новороссийск. Там Войсковой Атаман, командующий Донской армией генерал Сидорин, члены Круга, все правительство. Там дело вернее насчет Крыма. Кони же могут сдать, тогда можно по полотну железной дороги пешком драпать, может и поезд попадетсЯ. А потом, знаешь что — нам с тобой, Шалвур, лучше быть врозь, один попадетсЯ, другой, может, выскочит, — высказал свои соображения Бадня.

— Ну, как знаешь. Сейчас трудно что-либо советовать. Только мне кажется, что командованию, прежде всех министров и членов Круга, потребуется пушечное мясо, то есть полки, — ответил Ниминов с горькой усмешкой.

Пройдя с зюнгарцами Екатеринодарский мост, проделав вместе два дня пути, Бадня и ЗиндмЯ попрощались с Ниминовым и пошли за беженской и воинской колонной, идущей в направлении на Новороссийск.

**
*

Умная и рассудительная ЦеценЯ, будучи к тому же неплохим оратором, зная Маркса, Энгельса и вообще тонкости большевицко-коммунистического учения, быстро выдвинулась в большевицком безлюдье и была в своем кругу уважаема, как ценный работник.

С отступающими красными частями она прибыла осенью 1918 года в Царицын и отсюда, по рекомендации Сталина, была отозвана в Москву, на солидный пост. Но когда до нее дошли сведения о том, что делается с калмыцким народом, последовавшим за казачьим фронтом и попадающим в плен к красным, она добилась от Совнаркома чрезвычайных полномочий и выехала на фронт в качестве политического комиссара одного из действующих корпусов.

На фронте она увиделась со своими пятью калмыками — единственными во всей красной армии. Все

они занимали большие командные посты: начальник конной дивизии Ака Городовиков, командир бригады Кирсан Илюмджинов, командир полка Василий Хомутников и политком дивизии Хорти Кануков. Она уговорила их: при взятии населенных пунктов спешить самим вперед или высылать специальные разъезды для защиты своих беженцев от массовых расправ.

Сама она, маленькая, в мешковатой кожаной куртке, в серой каракулевой папахе с красной звездой на лбу, с блестящим черным наганом без кабуры за поясом, на великолепной вороной лошади с красными лентами в гриве, блестя горящими узенькими глазенками, с ярким румянцем на щеках, всегда первой вскакивала в занимаемые красными частями хутора, села и станицы, искала своих беженцев и, если находила, брала под свою защиту, собирала, ругала, кормила и с охранной запиской от фронтовой ЧК отправляла обратно.

Немало людей она спасла от неизбежной смерти и издевательств распоясавшихся безумных и звероподобных солдат Красной Армии.

Несмотря на всеобщую и острую ненависть калмыков ко всем большевикам, Цеценя своею деятельностью начинала завоевывать симпатии своего народа, по крайней мере, той его части, которая попадала в плен, ожидала смерти и была спасена ею.

К занятию красными войсками Екатеринодара Цеценя запоздала; она задержалась в соседней станице, где нужно было защитить от самосуда красноармейцев несколько подвод калмыков и организовать их отправку обратно. Части других калмыков-командиров, идя к Екатеринодару по другим путям, пришли тоже поздно.

Прибыв уже в темноте, Цеценя побывала у знакомых начальников одной из красных дивизий и, узнав от них, что здесь захвачено очень много калмыцких беженцев, что все они собраны в одно место и приказано до ее приезда никаких расправ над ними не чинить, спокойно отправилась на отведенную ей квартиру, чтобы утром увидеть беженцев.

• — Что я буду делать, если здесь попались Бадня и Зиндя? — думала она, засыпая под буркой. За последние месяцы, когда пленения калмыков участились, эти мысли у Цецени стали постоянными. Она была уверена, что скоро увидит попавших в плен своих врагов и любила на эту тему строить всякие планы. То она решила быть с ними жестокой и беспощадной, то становилась на путь великодушия и братского прощения, то готовилась к холодному и высокомерному безразличию, хотела показать, что ей, занятой делами великого социального переустройства мира, не до сведения счетов по сердечным делам, некогда разыгрывать мелкобуржуазную драму.

Как раз в этот вечер, всего за две-три улицы от квартиры Цецени, творился ужасающий самосуд толпы пьяных красноармейцев над тысячами пленных калмыцких беженцев, искавших в бегстве спасения от сорвавшихся с извечной узды подонков народа, захлебывающихся в удовольствии своих низменных, звериных потребностей, чем в те годы отличались безумные фанатики коммунизма.

Рано утром, когда Цеценя еще лежала под пахнувшей нагретой шерстью буркой, постучался к ней ее ординарец, недавно спасенный ею молодой калмык, и взволнованно доложил:

— Ой, вставайте, Цеценя, тут, недалеко от нас, солдаты учинили ночью самосуд и поубивали наших полную улицу...

Было холодное, мокрое, туманное утро. Улицы были еще пустынные. Наскоро одевшись, вскочив на уже готового коня, помчалась Цеценя в указанном направлении. Выехав на главную улицу, ведущую к мосту, она увидела сотни калмыцких подвод, нестройными рядами вытянувшихся по обе стороны ее. Издалека она увидела разбросанные пестрые сундуки с отбитыми крышками, вокруг которых валялись пестрые предметы калмыцкого женского наряда, а подъехав ближе, у первых же подвод, наехала она на окровавленные,

скрюченные, окоченелые и оголенные трупы калмыков и калмычек, старых и малых.

Цеценя побледнела, пошатнулась в седле, но, сжав крепко зубы, взяв себя в руки и, переведя коня на шаг, медленно поехала вдоль ряда опрокинутых и мертвых подвод с прокопченными дымом полстянными будками.

Всюду, раскинув выкрученные в плечах руки, раздетые и полураздетые, с вытщенными от ужаса и застекляневшими глазами, со сжатыми челюстями на изжелта-бледных широкоскулых лицах, со слипшими в крови и грязи волосами, с развороченными черепами и втоптаннми в грязь мозгами возле них, с распоротыми животами и вывалившимися кишками, — где по десятку вместе, где в одиночку, — на земле, на подводах, в будках и под возами, или в стороне от них, лежали тысячи трупов ее братьев, сестер, знакомых и станичников . . .

Цеценя до конца не доехала. Живых, все равно, не было. По этой же улице она заехала в один из домов, заняла комнату с окном на улицу и послала своих ординарцев с записками ко всем пяти калмыкам, командовавшим в конгруппе Буденного красными частями.

Через час все приглашенные съехались к ней и сидели в комнате Цецени. Все они уже видели жуткую картину трагедии родного народа и были в подавленном настроении. Маленькая Цеценя, запустив руки в карманы расстегнутой кожанки, то и дело встряхивая стриженной головой, нервно ходила по комнате взад и вперед и тихим внятным голосом говорила:

— Здесь, братцы, посторонних нет, будем откровенны, как калмыки — между собою. Вы, конечно, видели эту картину (она кивнула головой в окно). Нас, калмыков, всего шесть человек во всей Красной армии, и все занимаем ответственные посты. Каждый из нас — ценный работник и сделал не мало для победы революционных войск. — Она подошла к столу и отпила из стакана глоток холодного чая. — Нас здесь ценят, мы известны центру партии, с нами считаются, но — вы видите, что делается, в это же время, с нашими бед-

ными, ни в чем неповинными братьями, попавшими между двух огней... Я определенно замечаю, что высшее командование армии, одною рукою лаская нас, другою рукою тайно натравливает красноармейцев — не щадить калмыков. Если бы вчера вечером начдив Ковалев не уверил меня, что с захваченными калмыками все благополучно, то, может быть, этого (опять кивнула головой в окно) ужаса не было бы! Так вот, братцы, — что нам делать? Как быть? Вы — мужчины, может, знаете, как относиться к таким явлениям. Ведь это уже четвертый случай массовой и дикой расправы над мирными калмыками за один год! Лопанка, Чепрак, Саратовская и вот — Екатеринодар. И это, не считая многочисленных, нам неизвестных случаев. А впереди порты Черного моря, куда мы стремительно гоним белобандитов и где они должны найти свой конец. Ведь и там наших не первыми пустят на пароходы! За белых наши бузавские два полка воюют-то хорошо, но грузиться на пароходы, спастись от смерти они будут последними! Я нахожу, что вам, калмыкам-командирам частей, пуще прежнего надо стремиться вперед, чтобы первыми входить в эти черноморские порты — Новороссийск, Туапсе и другие. Кто куда направится, и защитит там наших от самосудов, — закончила Цеценя и со вздохом опустила на стул.

Воцарилось тягостное молчание. Никто не знал, что говорить. Наконец, заговорил политком конной дивизии Хорти Кануков.

Небольшого роста, сухой, с большими выпуклыми, некалмыцкими глазами, с коротко подстриженными рыжеватыми усами, это был теперь коммунист-фанатик, бывший до войны народным учителем и во дни октябрьского переворота юнкером Новочеркасского казачьего военного училища, принимавший участие в подавлении восстания ростовских рабочих. Последнее он глубоко скрывал и серьезно считал себя видным участником великого социалистического переустройства мира. Сердце его не знало жалости в борьбе с врагами пролетариата, только личная трусость не давала ему

возможности далеко выдвинуться на командные посты, и он пошел по линии политкомства.

Уставившись серыми глазами в стенку повыше дверей, заученными казенными фразами большевистских агитационных брошюр или митинговых речей, он сказал:

— Мне не совсем понятен горестный тон товарища Цецени (будучи женат на русской, своей бывшей кухарке и ею значительно руссифицированный, он всегда говорил по-русски). Радоваться, конечно, особенно нечему, но в случившемся мы разве виноваты? Нет! Мы звали наш народ ориентироваться на большевиков, указывали на гибельность борьбы с народной волей великой страны, но нас не послушали. Нас народ проклял и послушался гелюнов и офицеров, извечных врагов народа и дармоедов. Сердце нашего народа тянулось в сторону золотопогонников, помещиков, коннозаводчиков, и теперь люди гибнут. Что же... туда им и дорога! Товарищи! Идет великая борьба пролетариата, трудящегося класса за свободу и стопроцентное пользование продуктами своего труда, за равенство в мире. Мы побеждаем, грудью идя вперед в авангарде мировой революции. В результате нашей победы над эксплуататорами, капиталистами, встряхнутся сотни миллионов угнетенных и разорвут цепи буржуазии и... что значит в этой великой борьбе гибель каких-нибудь десятков тысяч калмыков? Наша семья — все человечество, наши братья — рабочие и бедняки всего мира, ждущие избавленья от рабства капитала! Если мы не дадим эти трупы (указывая пальцем в окно) сожрать собакам, а прикажем собрать и зарыть в землю, то мы сделаем все, что нужно. Товарищи! Мы боремся за счастье всего трудового человечества, и в этой борьбе кто против нас, будь хоть мой брат родной (брат его, действительно, был на стороне казаков), пусть гибнет, никакой пощады мы не должны знать!

Кануков хотел еще что-досказать, но вскочивший со стула командир конной бригады Кирсан Илюмджинов не дал ему продолжать.

Илюмджинов был высокий, статный калмык, с красивым смуглым лицом, бывший фейерверкер донской батареи. У красных он очутился, будучи обиженным своим станичным атаманом-богачем и будучи соблазнен большевиками обещанием свободы всем национальностям, находящимся под властью России.

Своей исключительной храбростью, хладнокровием и распорядительностью в самые критические моменты боя, обожаемый подчиненными, он скоро был замечен высшим командованием и теперь был командиром одной из лучших бригад конгруппы Буденного. Своею порядочностью он резко выделялся из среды преступного сброда красноармейского комсостава.

Когда он, нервно шевеля длинными черными усами, с холодным огнем в колючих глазах, вскочил со стула и с взволнованно раздувающимися ноздрями, молча окинул взором собрание, все как-то сжались на местах, опустили глаза. Едва сдерживая волнение, он заговорил, отвечая Канукову. Говорил он по-калмыцки, вставляя русские слова, как и все донские калмыки:

— Я вас, старший брат Кануков, не понимаю... На улице лежат тысячи изуродованных тел наших кровных братьев, среди них каждый из нас найдет знакомого, соседа или родню! Произошло невиданное кровавое событие, а Хорти говорит, будто, не о чем горевать, потому что — мы боремся за счастье всего человечества!.. Я спрашиваю вас: вы это серьезно думаете — мир перевернуть и большевицкие порядки в нем утвердить? Ведь, это наши вожди дурят массу, это только дурман для темного народа. Что же нам такую глупость говорить! Тут же не митинг перед солдатами! Мы же съехались поговорить по-свойски! Мы-то с вами знаем, что каким-то чудом, только по причине неизлечимой глупости царских генералов, мы побеждаем с трудом у себя дома, а за наши границы нас ни один народ, даже самый слабый, не пустит и на шаг. Наконец, если даже было бы по-вашему, товарищ Кануков, то есть шли бы освобождать бедных всего мира от богачей, чтобы первым дать возможность пограбить вторых, то

что от этого маленькому калмыцкому народу? Почему он должен погибнуть и на какой дьявол мне нужно счастье каких-то персов, французов, когда исчезнет с лица земли мой родной народ? Я бьюсь в рядах Красной Армии, думая, что большевики, укрепившись у власти, дадут народам России возможность жить по своим обычаям, быть хозяевами своих земель и вод, свободно употреблять свой язык, молиться своим богам. А теперь, если говорить правду, я вижу, что пока большевики укрепятся, от нашего народа мало останется и, самое ужасное для нас, — от руки именно большевиков, которым мы так хорошо и честно помогаем. Вот в чем есть наш грех и несчастье нашего народа. Если бы я был вместе со своим народом, делил бы с ним все горе и радость, делал, что доступно моей силе, то совесть моя была бы чиста. Теперь? . . . Теперь, братцы, я чувствую себя участником убийства брата моего. А это так и есть! Я думаю, что мой старший брат лежит там, среди тех трупов, а солдаты которыми я команду, может, принимали участие в этом самосуде участие. Если говорить коротко, то мы с вами сделали великую ошибку, пойдя против своего народа с красными, убийцами нашего народа. Вот отчего я удивляюсь — за какой такой народ борется товарищ Кануков, когда весь наш народ — с казаками и свое счастье видит в их победе! Может, народ наш, в силу своей политической незрелости, ошибается, следуя за казаками, но он весь там, и мы, по правде говоря, с оружием в руках пошли против своего родного народа! Если Кануков говорит, что мы боремся за счастье мирового пролетариата, то на какой дьявол оно нам нужно? Ну, хоть все это так, но прошедшего дождя взмахами рукавов не вернешь, как говорит наша поговорка. Подлое и безмерно жестокое дело сделано. Теперь нам надо принять меры, чтобы в будущем это не повторялось, как правильно говорит сестра Цеценя. Надо составить хорошую бумагу, подробно описав все, что творится, и всем нам подписать и послать самому Ленину, чтобы он отдал строгий приказ по фронту — не убивать без суда и разбора попадаю-

щих в плен мирных беженцев. Вот мое практическое предложение.

Кирсан Илюмжинов сел и, вынув черный шелковый кисет, расшитый золотыми позументами по краям, начал набивать черную трубку, отделанную серебром.

Поражаюсь! Вы — командир красной бригады, член компартии, орденоносец... — торжественным голосом начал было отвечать ему Кануков, но его перебил начальник конной дивизии, любимец Буденного, Аку Городовиков.

Невысокого роста, но стройный, с красиво закрученными небольшими черными усами на симпатичном смуглом лице, бывший лихой рубака 9-го Донского казачьего полка, где он в мирное время по первому разряду кончил учебную команду, Городовиков был храбр, умел быстро и толково разбираться в обстановке и стремительно вести полки. Из всех начдивов буденновской конгруппы Городовиков был самым известным. Будучи соседями по Ики-Бурульской станице, Буденный и Городовиков были дружны, и первый тянул за собою второго. Начав с командира эскадрона в полку Буденного, Городовиков, идя по пятам его, побывал командиром полка, бригады, стал начдивом и был ближайшим кандидатом на корпус и конную армию. Имел он уже два ордена красного знамени, вынесших его на вершину красноармейской славы. В политике Аку особенно не разбирался, думал, что это дело Ленина, к большевикам он перебежал из отряда Походного Атамана Попова, когда он стоял в зимовнике Манука Попова, получив сведение от станичников, что Ики-Бурульский станичный атаман и член Круга — Амбуша Сарсинов собирается предать его военно-полевому суду, как главаря митинговых фронтовиков, которые, во время своего осеннего съезда, заставили Сарсинова зарезать для них двух баранов под самогон. Много о своем поступке он не думал, видел, что судьба вынесла его на гребень волны житейского моря, и он на совесть старался, чтобы на нем удержаться, воевал не щадя

своей жизни, части свои держал в образцовом порядке и полки свои водил от победы к победе.

Происходящая перепалка между коммунистом-политкомом дивизии Кануковым, знающим все правила партдисциплины, и популярным в своей бригаде Илюмджиновым, смущала Городовикова и была ему очень неприятна. Ему хотелось поддержать и того и другого. Кроме того, он чувствовал, что влиятельная в центре Цеценя скорее будет на стороне Илюмджинова, чем Канукова, да и сам он в душе больше понимал Илюмджинова, чем интернациональный патриотизм Канукова.

— Э, в самой атаке лучше бывает видно, что надо делать, — решил он про себя и, мешая калмыцкие и русские слова, заговорил:

— Старшие и младшие братья, товарищи командиры красной армии, я понимаю стопроцентного коммуниста и передового борца за мировой пролетариат товарища Хорти Канукова. В смертельной схватке за благо трудящихся мира, смерть нескольких тысяч, хоть и неповинных наших братьев, ему ничего, печальный случай и только. Он, по себе, прав. Но, братцы и товарищи, надо понимать и комбрига Илюмджинова. Он — калмыцкий патриот. Ему наш народ и его хорошая доля — все. С большевиками он пошел только за тем, чтобы поправить чашку своего народа. А сейчас, когда он видит на вулице тысячи убитых своих братьев, так как же его сердце не защежит от боли? Я его душу понимаю... Но, что делать?! Не будем долго спорить, дело не поправимо. От своих мы разлучились, и нечего нам теперь туда взор посылать. Пусть наш разговор останется между нами. Сейчас мы, то есть сестра Цеценя, напишет хороший паршень, мы усе подпишем, через три-четыре дней товарищ Буденов едит в Маскугур и с ним передадим. Я ево ишо от себе попрошу харшенько, чтоб он там похолпотал. А мертвых надо скорее хоронить, убрать!..

— Это уже делается. Три взвода моего полка наряжены мною. Один за городом копает ямы, а два накла-

дывают трупы на возы, — сказал молчавший до сих пор командир полка Василий Хомутников, маленький, кривоногий и узкоглазый смуглый калмык, бывший приказный 2-го Донского казачьего полка, сын единственного в Богла бедняка.

— Вот спасибо, товарищ Хомутников, вы всегда вместо слов что-нибудь сделаете, — сказала Цеценя, благодарным и ласковым взором окидывая маленькую фигуру Хомутникова.

— А вы, товарищ Керядык, ничего не сделали? Я слышала, что ваша сотня вчера партию наших беженцев захватила. Вы отправили их, знакомых не было среди них? — обратилась Цеценя к Сафонову.

Оскаля тесный ряд лошадиных зубов на лице бритого гориллы, Сафонов ответил:

— Отправил! Мать и дочь Цагаковы попались . . . так что я закусил. Будет Бадня помнить моего брата!

— Какой ужас! Неужели вы убили Эрвни, эту милую и невинную девушку! Ведь наш враг — Бадня! Зачем Эрвни убили?

— Мои враги все Цагаковы! Она — дочь первого в хуторе буржуя! Ее брат убил моего брата! . .

— Товарищ Сафонов совершенно правильно поступил. Из него выйдет настоящий коммунист, без всяких буржуазных предрассудков. Раз буржуй — на луну! — вмешался Кануков.

В это время прискакал казак из штаба группы за Городовиковым и Илюмджиновым — на экстренное совещание высшего комсостава конгруппы Буденного. Выйдя из дому, Городовиков немедленно поскакал в свой штаб, чтобы ехать на совещание с начальником штаба, бывшим офицером царской армии, а Илюмджинов, уныло опустил голову, поехал вдоль рядов калмыцких подвод, вглядываясь в лица убираемых красногвардейцами трупов. Лицо Илюмджинова было бледно, губы что-то неслышно шептали, а правой рукой, время от времени, он взмахивал перед носом, как бы отгоняя надоедливую муху. Красноармейцы, с шутками и прибаутками бросавшие на подводы трупы вчераш-

них своих жертв, увидя Илюмджинова, замолчали, сделали серьезные лица и осторожнее стали класть мертвых.

На одной возилке, на белом постельном ширдыке с красной суконной каймой, лежал труп седоволосого тучного старика, с проткнутой штыком грудью, а у головы его лежал пестро разрисованный молельный барабан «күрде» — последнее духовное утешение богомольного старика Бадьмы. Илюмджинов, хоть и был другой станицы, но боглаевского Бадьму знал и сейчас же угадал. Он постоял над ним в раздумье, потом слез с коня, поднял и правильно поставил күрде, с тихим шепотом раз-два крутнул барабан. Потом он присел на краешек полсти, полез в карман за кисетом, вздрогнул, быстро выдернул наган из кобуры и выстрелил себе в сердце. Вестовой и ординарец не успели к нему подскочить, как он уже был мертв.

В тот день, к вечеру, на окраине города, несколько солдат поспешно закидывали землей большую яму — братскую могилу убитых в Екатеринодаре калмыков, а недалеко от этого места, в отдельную могилу, под трубы, ревущие «Интернационал», под залп караула, опускали обитый красным кумачом гроб комбрига Илюмджинова...

Так нашел себе искупление заблудшийся, но честный сын своего народа; а экзальтированный фанатик Кануков, карьеристы и рабы земной славы Городовиков и Хомутников продолжали вести красные полки, догоняя и уничтожая белых, а вместе с ними и своих несчастных братьев...

ГЛАВА 14.

Новороссийская пристань, битком набитая войсками, беженцами, лошадьми и подводами, гудела нестройным гулом стотысячного человеческого и животного скопища, смертельной опасностью прижатого к морю.

Увидев бескрайное море людей и всего несколько дымящихся труб пароходов, Зиндя первая встревожилась:

— Ай-яй-яй, Бадняш! Не попадем мы на пароход! Смотри, сколько народу, а пароходов — раз, два, три, четыре и пятый полпароходика! Командиры возьмут свои войска, а беженцы останутся. Что тогда будем дела-а-ть?

— Не бойся, Зиночка, ты знаешь — сколько может забрать людей один пароход? Десяток тысяч! А потом Крым не далек, несколько часов езды до Керчи, можно отвозить и возвращаться, а красных задержат в горах на неделю. Потом, не забывай, что я член Донского Войскового Круга! Мне, думаю, удастся попасть на пароход пораньше какого командира, особенно, если увижу нашего командарма, я с ним лично знаком! — успокоил жену Бадня, приближаясь к пристани.

Подъехав на своих истощенных, но выдержавших тяжелый и далекий путь с берегов Сала до Черного моря конях к табуну брошенных хозяевами голодных лошадей, которые, понутив головы, подобрав впалые животы, с хвостами, слипшимися от грязи, сплошной стеной стояли за человеческим морем, Бадня и Зиндя спешили, взяли свои небольшие узелки и, прощально погладив лбы коней, дав им последние кусочки сахара, поцеловав их теплые пахучие ноздри, утирая невольные слезы, отошли от них. За время долгого и тяжелого пути они успели не только оценить и привязаться к ним, но они являлись последней живой связью с домом, всегда будя воспоминания о счастливейших днях их жизни — о днях свадьбы.

На пристани царил обычный беспорядок и бестолковщина. Где, кто и когда грузится, кто руководит по-

грузкой, ни у кого нельзя было узнать. Охваченные стадным чувством опасности, люди обалдело жались к пристани и жадно смотрели на пароходы.

С двумя узелками на плече, одною рукою протаскивая за собою Зиндму, пробился, наконец, Бадня к самому берегу. На громадный пароход, по мостику из четырех досок, идя по два человека и в ряд, грузились солдаты Добровольческой армии. У конца мостика стояли два вооруженных солдата, которые, тыча штыками в живот каждого, кто приближался, никого, кроме своих, не пропускали. Подходившие казаки и калмыки, строевые или беженцы — все равно, без разбору чина, грубо отталкивались от трапа, а подошедший капитан-корниловец нарочито громко и внятно приказал солдату: «Пррри-ка-зываю — стрелять во всякого, кто самовольно попытается пройти на пароход!».

Бадня протискался к нему и, вытаскивая свою депутатскую карточку, заговорил:

— Простите, господин капитан, я член Донского Круга...

— Ну и кружись дальше! Пошел вон! Начхать мне на твой круг! Будет вам теперь, как кругу кружиться, а на раде радоваться! Смотри — никкого не подпускай ближе! — еще раз повторил он свой приказ и, молодцевато повернувшись на каблуках, вернулся на пароход.

Бадня понял, что о членстве Круга не везде можно говорить. Зиндмю от возмущения грубостью и наглостью капитана то бледнела, то краснела и, по привычке, пребольно кусала нижнюю губу, блестя своими большими лучистыми глазами.

Уже второй день шла погрузка, а до казачьих частей очередь еще не доходила; и нигде нельзя было узнать, погрузят ли казаков вообще. Командиры казачьих дивизий и полков рыскали по городу, ища Донского Атамана, или, хотя бы, командующего Донской армией, но их нигде не оказалось. Узнав, что для казачьих частей пароходов не будет, они поспешили самим скорее выехать, бросив на берегу моря на растер-

зание красным зверям и свои войска и свой народ. За всю многовековую историю казачества это был первый случай такого бесстыдного, позорного предательства казаков их выборными вождями.

Проведшие холодную ночь на пристани, голодные, обозленные и обеспокоенные отсутствием своих главварей в такие опасные минуты, казаки начали волноваться и, с угрожающими криками, задние начали напирать на передних. Вплотную придвинувшись к трапу, плотным кольцом окружив часовых, вот-вот готовы были казаки столкнуть их в море и неудержимым потоком хлынуть на пароход.

Бадня, бросив свои узелки, крепко держа за руку Зиндму, готовился с первыми броситься по мостику на пароход, как вдруг раздались крики:

— Дорогу раненым! Дорогу раненым!

Привыкшие в массе к власти команды, всегда внимательные к раненым в бою товарищам, казаки вмиг успокоились и очистили для раненых путь. Потянулась длинная вереница носилок с людьми, с забинтованными головами, перевязанными руками и ногами. Каждые носилки несли четыре человека. Доставив раненого на пароход, трое там оставались, а один проносил носилки обратно, и нового раненого несли опять четыре человека. Иногда проходили носилки с человеком, прикрытым шинелью или одеялом.

— Тяжелораненые, — тихо говорили носильщики, проходя по коридору казаков и калмыков.

Уж полчаса таскали раненых, но конца им не было.

— Да иде ето йих так попереранило!? Боев чивой-та, братцы, давно уже и не було. Тут чиво-то не так, станишники! — раздался вдруг голос одного казака в толпе.

— А ить правда, как бы ето хуч аднаво ранитаво поглядеть? — поддержал другой.

— Глянь-глянь, братва! Ды там ети ранетые сами вскакивают с носилок и на бинтованных ногах маршируют! Ды ето усе здоровые! — закричал громко третий казак, указывая на пароход.

— А-а-а-о-о-о!!! — прокатился по берегу не то гул,

не то протяжный вздох тысячи грудей. Вмиг масса сгрудилась к мостику, но в ту самую минуту пароход забурлил винтами и, сбросив мостик, с которого едва успели сбежать на берег двое часовых, начал медленно отходить.

Толпа на миг оцепенела от неожиданности, и стало тихо.

— Братцы, а ить больше пароходов нету, остальные ночью мотанулись с добровольцами! Выходит так, что нас, казаков, бросили с нашими несчастными калмыками — а?! Да ить его што-же такое? Хамы-ы-ы!!! Сволочь лапотная-я-я!!! Предатели-и-и!!! Воевали, так мы впереди, а за море удирать, так вы-ы-ы! Вот вам! Вот вам! — иступленным голосом орал молодой казак, посылая по пароходу пулю за пулей.

— Брось, сынок, не стреляй! — закричал на него старый казак — зря людей поранишь, а парохода нам уже не вернуть; ишь, они даже орудие на нас направляют. Какое таперича нам здесь! Боже, голов-то сколько посымают! Бросили станицы, семьи, чтоб уйти от краснюков, а тут такое безбожество! — проговорил старик и, закрыв лицо морщинистыми огрубелыми руками, зарыдал.

На бледных и вытянувшихся лицах изобразились ужас и отчаянье. Тут же, среди казаков, остались лежать двое носилок с людьми, прикрытыми шинелями. Как только раздались крики и выстрелы, носильщики-добровольцы из бывших пленных красноармейцев, бросив своих тяжелораненых, спокойно скрылись в толпе, а из носилок с визгливой бранью вскочили две молодые плотно сложенные женщины.

Посмотрев на уходящий пароход, они погрозили кулачками и, крикнув в пространство: «Бросили! И не надо, других найдем, комиссаров, похлеще жоржиков-голодранцев!», — пошли прочь от пристани, покачивая бедрами...

Казаки только плевались и чертыхались.

Скоро толпа обреченных на пленение казаков и калмыков пришла в движение: кто прятал подальше пос-

ледные ценности, кто освобождался от оружия и внешних знаков, от погон и кокард, кто выбирал наиболее свежего коня, садился и куда-то исчезал, но большинство осталось на месте, на берегу, боясь отрываться от толпы.

Прискакало откуда-то человек пять молодых калмыков, в фуражках с желтыми верхами и синими околышами, с пиками на желтых древках.

— Откуда, станичники? — спросил их кто-то.

— С позиции 3-го калмыцкого полка, ищем своего командира, — бойко отвечал молодой урядник.

— Это полковника Слюсарева, что ли? — спросил один пожилой казачий офицер.

— Так точно, господин есаул! — отвечал урядник, беря руку под козырек.

— Уехал ваш командир в Крым. Я видел, как он со знаменем полка прошел еще вчера вечером. А ваш полк разве на позиции, какие там еще части с вами?

— Так точно на позиции, по шоссе на восток. Большевики с утра наступают. Других частей с нами нет. Патроны у нас кончаются, а приказаний от командира полка нет! Есаул Абушинов послал нас отыскать командира, а его на квартире нет, — продолжал докладывать молодой калмык, словно оправдываясь в том, что не может найти командира.

— Голубчик, да говорю же вам, что ваш командир уехал, я же его лично знаю, при мне сел на пароход, его потому только и пустили, что знамя нес, а то был бы тут, — толковал им есаул.

— Ну-у, господин есаул шутит. Наш командир не бросит свой полк, он у нас лицом, как калмык... урядник не закончил фразу... Увидев офицеров, срывающих погоны и кокарды, бросающих в море револьверы и серебряные шашки, плачущих казаков, калмыков и калмычек, он понял, что тут людям не до шуток. Побледнев своим молодым обветренным желтовато-смуглым лицом, он подал казакам своим команду и рысью повел их прочь от берега, направляясь на восточную окраину Новороссийска, в горы, где 3-й кал-

мыцкий полк, под командой есаула Абушинова продолжал задерживать наступающих большевиков, ожидая от командира полка приказа идти на погрузку.

В это-же время, с другого конца города, начала доноситься пулеметная трескотня. То стреляли по окраине города входящие красные части.

— Ну, Бадняш, пришла смерть, — упавшим голосом прошептала Зиндмья, ближе прижимаясь к мужу.

Глубоко уйдя мыслями в себя, Бадня молчал. Только посеревшее лицо и сузившиеся глаза свидетельствовали о том, что в душе его происходит буря. А Зиндмья продолжала:

— Тебя замучат, а меня обесчестят, опозорят, издеваться будут... Цеценя же нас найдет... Зачем все это принимать? Лучше не допустить это, не видеть все, а конец — один...

— Верно, — проговорил, наконец, Бадня. — Лучше смерть по своей воле и сразу, чем после ползаний перед врагом на коленях...

Разговор этот длился всего минуту-две на калмыцком языке, отрывисто, полушопотом, и на них никто не обратил внимания. Только когда раздался невольный последний крик Зиндмьи и всплеск воды от падения двух обнявшихся тел, все невольно ахнули. Только показались они из воды, барахтаясь и хватаясь друг за друга, и исчезли в глубине. Только серая каракулевая кубанка Бадни и черная каракулевая шапочка Зиндмьи остались на некоторое время плавать на воде у самого берега. Старый казак, найдя где-то пику, успел их достать. Хорошенько выжав воду, он спрятал их в свою сумку, приговаривая:

— Ишо дюже хорошие шапки, може придется домой добратца, а то в дороге на хлеб променяю.

Густая толпа людей, видевших смерть Бадни и Зиндмьи, невольно умолкла. Только старый казачий полковник, только что сорвавший погоны с английской шинели, натягивая голенища своих грубых сапог из седельного чепрака, грустным тоном заговорил:

— Правильно сделала эта молодая пара. Я знаю калмыцкий язык и невольно слышал их разговор. Это был член Круга, тот самый Цагаков, который на заседании Круга держал речь о необходимости придать нашей борьбе против большевизма смысл и характер внешней войны. Для этого он требовал объявить казачество самостоятельным государством и добиваться признания его иными государствами, то есть претворения в действительность Донской Конституции, выработанной Атаманом генералом Красновым. Он был убежден, что, если наша борьба и в дальнейшем будет носить печать гражданской войны, то мы, рано или поздно, борьбу проиграем, ибо, по его мнению, против революции контрреволюция долго бороться не может. Быть может, его идея была правильна. Поразительно то, что на решение броситься в море толкнула его жена. Какой твердостью и гордостью веяло от ее слов. Да и муж не долго раздумывал. Пятьдесят процентов из нас должны сделать то же самое, что и они, но . . . Ясно, что всем нам предстоит позор, унижение, муки и, в конце-концов, мучительная смерть, а вот не можем решиться! С утра сижу и борюсь с собой, все решаюсь прыгнуть в море или пустить пулю в лоб, но проклятый страх смерти и надежда на «авось» сковали мои руки и ноги! Только сильные и решительные натуры способны перебороть этот страх и швырнуть свою жизнь в море перед позором и унижением.

Прерывая его слова, в сущности, ни к кому не обращенные, недалеко от него раздалась крики, и толпа пришла в движение.

— Смотрите, смотрите, еще один калмычок бросается в море!

Полковник, расталкивая людей, пошел туда, где средних лет калмык, судя по одежде, офицер, рвался к морю, а миловидная, смуглолицая, хорошо сложенная калмычка, боролась с ним. Она хватала мужчину за ноги, висла на шее, тянула за руки, проявляя неженскую ловкость и силу.

Подойдя ближе, полковник разобрал:

— Пусти, пусти меня, Отха! Хочешь жить, оставайся одна, меня пусти, я офицер, пощады не будет, будут бить, мучить, издеваться, в тюрьме сгноят, Бадня и Зиндя правильно...

— Не надо, стой, ты офицер из простых, ты не кадет, в море раки будут сосать, пусть лучше люди убьют, а не убьют, так всякая жизнь лучше смерти, побои заживут, позор забудется, — скороговоркой твердила женщина, не пуская мужа.

Наконец, поддаваясь противодействию жены и угрозам других калмыков, он перестал рваться и, скинув свою хорошую шинель, надев какой-то старый кафтан, скрылся в гуще толпы, прихрамывая на одну ногу. Это были сотник Маркусов и его жена Отха.

Вдруг замерла толпа. К этому морю безоружных людей, уже покорившихся своей участи, с шашками наголо, прискакала шайка красноармейцев и, давя людей лошадьми, стегая, стала выискивать калмыков и рубить.

Предсмертные крики и стоны раненых стали раздаваться с разных сторон.

«Калмычков на капусту секуть, а там и до нас доберутца», — шепотком несло по людской массе.

Калмыки, разбредясь по набережной, хоронились меж людских ног, заползали в самую гущу, но большевики их находили и без слов рубили, топча их в грязи копытами коней...

Всего минут пять-десять продолжалась эта дикая охота, а уже сотня трупов валялась на набережной. Красноармейцы на этот раз не мучили, не издевались, а только почему-то спешили больше порубить.

Неожиданно для убиваемых и предсмертные молитвы читающих калмыков, на взмыленном громадном вороном коне, с пятью ординарцами за собой, примчалась Цеценя и резким голосом закричала:

— Именем фронтовой че-ка приказываю прекратить самосуд!!! Товарищи красноармейцы, пожалуйста сюда и покажите ваши документы — кто дал вам право чи-

нить самосуд? Калмыки, сюда! Советская власть наказывает только виновников братоубийственной войны, но она вилует невиновных!

«Товаришшы — чака, чака!» — послышалось между красноармейцами и те поспешили ускакать...

Облегченно вздохнувшие калмыки покорно и быстро сбежались к этой маленькой узкоглазой девушке, словно с неба свалившейся для спасения их. Ординарцы ее поскакали во все стороны, собирая и сгоняя калмыков. Скоро многотысячная толпа угрюмых калмыков тесным кольцом окружила Цеценю.

Своими узкими глазами долго всматривалась Цеценя в толпу и, наконец, спросила по-калмыцки:

— Бадню Цагакова с женой Зиндмой из Бокшурганской станицы не видел кто?

— Всего полчаса как бросились в море, — ответил кто-то из толпы.

Услышав ответ, Цеценя побледнела, маленькие глаза ее сузились еще больше и она, круто повернув коня на месте, приказала толпе калмыков следовать за собой.

Тысячи своих братьев, искавших спасения от красного плена за морем, искавших спасения от красных зверей, спасла Цеценя от немедленной расправы, но повела их на муки долгие, на смерть в тюрьмах, лагерях и шахтах...

Беспощадный и разноплеменный мир из народных подонков, под управлением бесчеловечных фанатиков коммунизма — захвативших власть над несчастными народами многомиллионной России, не знал жалости к тем, кто не покорялся ему добровольно, кто морально стоял выше и кто мог помнить его злодеяния.

К вечеру этого дня, с восточной стороны, втягивался в Новороссийск сдавшийся в порядке 3-й Калмыцкий полк. Он проходил по одному человеку по живому коридору из красноармейцев, которые, по приказанию своего начальства, рубили каждого второго.

Над взбулгаченной степью опускалась долгая, темная ночь...

ГЛАВА 15.

Маленький захолустный Адлер на берегу Черного моря робко притих от небывалого скопища казачьего воинства, шумно и густо снующего по его кривым и грязным улицам. Тут завершается очередной драматический этап казачества и калмыков, брошенных своими вождями на произвол судьбы.

Большевицкий ультиматум — добровольно сдаться — был многими частями принят из-за безысходного положения. Нашлись и генералы, взявшиеся за организацию сдачи казачьих полков.

Длинными, смущенно притихшими вереницами снуют по Адлеру колонны казачьих полков на изнуренных и исхудалых лошадях. Части сходятся, люди отрывисто перебрасываются несколькими словами, а потом соединяются или расходятся в разные стороны. От части к части скачут одинокие всадники. Молчаливые ряды сдающихся полков сбиваются на западную окраину города. Нестройные, растерянные и куцые остатки полков тянутся по шоссе на восток от Адлера. Эти решили, что лучше идти до конца, на новую борьбу, на полную неизвестность, чем добровольно сдаваться живыми и здоровыми красным зверям.

В ожидании пароходов, могущих прибыть из Крыма, эти остатки частей собираются на прибрежную полянку за местечком Новый Городок. Время от времени их догоняют и присоединяются к ним отдельные казаки, в последнюю минуту раздумавшие сдаваться. Лица их оживлены, глаза горят решимостью — они победили сомнения.

Иногда в одиночку, а то группами, часто со слезами на глазах, поворачивают казаки назад. Эти в последнюю минуту решили сдаваться. На лицах покорность участи.

Тысячный Калмыцкий Зюнгарский полк, до единого вооруженный, в полном порядке следующий за своим любимым молодым командиром, заставляет расстроен-

ные и безоружные части почтительно расступаться и давать дорогу.

Берег, куда ожидаются пароходы, густо покрыт людьми. Тысячи пар глаз напряженно вперены в морскую даль. Но дымков нет и нет. Еще неизвестно, сколько будет пароходов и будут ли вообще. Время тянется мучительно долго. Нервы людей напряжены. Едва слышная пулеметная стрельба где-то далеко-далеко создает на берегу движение и беспокойство. «Лишь бы попасть на пароход», — вот мысль, пригвоздившаяся во всех мозгах. Человеческая совесть и разум уступают в такие моменты проснувшемуся инстинкту зверя. Только сильные волей сохраняют светлый разум.

Вдали, в стороне от людей, вполголоса совещается командир Зюнгарского полка полковник Тепкин с тремя надежными своими офицерами-калмыками: командиром 6-ой сотни, полевым адъютантом и сотником Ниминовым. Разговоры коротки, мысли точны.

— Если будет похоже, что наш полк захотят оставить за недостатком места, то взять с бою. Кроме нашего ни одного полка вооруженного нет и везде колебание, — предлагает Ниминов.

— Если и так не попадем на пароход, то атакуем грузинскую границу и прорвемся в Грузию, а там посмотрим, — говорит командир шестой сотни. — Смотрите, казакам пока ничего не говорите, может, все обойдется хорошо, зря нечего людей нервировать, — приказывает командир полка.

— Полковник Тепкин! Командир Зюнгарского! Только у вас целый полк вооруженный и порядок; вышлите одну сотню на прикрытие погрузки, не беспокойтесь, места будут всем, тем более, зюнгарцам! — раздался резкий, нервный голос генерала Калинина.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — спокойно отвечает Тепкин.

— Командир второй сотни! Возьмите свою сотню, вышлите к речке наблюдателей, речка в трех верстах отсюда, а сотню держите в кулаке в лесу. Как только

красные перейдут реку, атакуйте их и задержите до конца погрузки. Будьте там до моего приказа.

Сотня засуетилась и минуты через две-три она вытянулась по шоссе на запад. Можно было подумать, что в обычной обстановке сотня получила обыкновенное очередное задание и спокойно идет на его выполнение. Только по посеревшим лицам, по неуверенным и вялым движениям калмыков, можно было догадаться, что люди этой сотни считают себя обреченными на жертву и что им не попасть на пароход. Но ни единого протеста.

— Господин сотник! Там какие-то части бросили при дороге десять ящиков патронов и сто винтовок. Можно патроны разобрать? — доложил подбежавший урядник, обращаясь к сотнику Ниминову.

— Поделить патроны между сотнями и раздать людям, а винтовки передай в обозную команду, — получил приказание урядник.

В стороне кучкой стоят командиры лучших донских полков и батарей и о чем-то тихо совещаются. Видны: рослый, стройный и мужественно-красивый полковник Губкин; высокий, тонкий и большеглазый Шмелев; с рукой на черной перевязи, беспечный и вечно балагающий Чапчиков; хмурый, чернобровый генерал Рубашкин; с белым эмалевым крестом на груди, небольшого роста бледнолицый полковник Леонов. Его слушает грубовато и крепко сшитый сутуловатый Бугураев.

— Смотрите, господа, что делают зюнгарцы! Вон сотня в полном порядке пошла на прикрытие, а вон патроны раздают! Вот таких полков бы десять! — слышится голос самого боевого полковника Губкина. К этой группе подходит маленький, но аккуратно сбитый смуглый Тепкин. К нему навстречу выходит полковник Леонов и, беря под руку, говорит:

— Гаврюша, если пароходов не будет, то решаемся прорваться в Грузию. Как ты думаешь, твои зюнгары... в голову...

— Если иного выхода не будет, то сделаем так, — спокойно отвечает ему Тепкин.

— Командир Зюнгарского! Тепочка, можно тебя на минутку?! — зовет его командир бригады генерал Семенцов.

— Сию минуту! Адъютант, комшестъ, сотник Ниминов идите сюда, комбриг хочет что-то сказать! — с улыбкой проговорил Тепкин, идя к Семенцову.

Высокий, стройный и красивый, черноусый молодой генерал Семенцов потерял дух и пал сердцем. Поэтому голос его сегодня заискивающий и слова жалкие:

— Знаешь, Гаврюша, мне жаль твоих калмыков. Всегда они первые в бой и последние из боя... Вот сейчас сотню ты послал на гибель. Думаешь, что большевики дадут нам спокойно грузиться и твоя сотня попадет на пароход? Я тебе, как друг, советую: веди-ка ты своих зюнгарцев за мной, пробьемся в Грузию! Там интернируемся, поведем переговоры с Москвой, получим амнистию не попадая в руки фронтовой власти, вернемся по домам. Нечего шептать в кулак. Война кончена, большевички победили. Крым, Врангель, это — ловушка! Крым падет через две-три недели. Ехать туда не стоит. Ты представляешь, какая там будет резня? Не веди калмыков туда!

Командир Зюнгарского полка, только перекинулся двумя-тремя словами со своими офицерами и уверенно ответил:

— Видишь, комбриг, ты духом раскис. Ты панику на меня не нагоняй. В Крыму Войсковой Атаман, там командующий Донской Армией, там правительство, Круг, и я доставлю в их распоряжение мой полк хотя бы на две недели. Будем уж биться до конца, жизни с большевиками нам все равно нет. Авось еще продержится Крым долго.

— На спине не удержались, так на хвосте и вовсе не удержимся!

— А мы посмотрим!

— Ну, дело твое. Я тебе свою душу открыл, ты мне свою. Дай Бог тебе здоровья, Тепочка, я тебя всегда любил. Прощай... Я еду в Грузию.

Генерал и полковник, давнишние друзья и боевые соратники, обнялись, поцеловались и простились.

Вдруг по толпе пробежал гул и радостные возгласы:
— Идут-идут! И-и-и-дут!!!

Тысячи голов вытянули шеи и глазами забуравили водную даль.

— Да-да, вон дымки, скоро покажутся пароходы, — сказал офицер, глядя в бинокль.

— Три парход идет! — радостно засиял белыми зубами на черном лице ординарец Зюнгарского полка Минаев, без бинокля считая где-то ему одному видные парходные дымки.

Еще немного, и показались на морском горизонте четыре парходных дымка. Вдох облегчения вырвался из тысячи грудей. Поднялся шум-гам, посыпались шутки и смех. Серыми громадами двигались пароходы ближе и, наконец, остановились вдали. Скоро замечались на них сигнальные флажки. На берегу кто-то стал Калинину переводить.

— Расседлать коней! Взять седла и переметные сумы! Бросай лошадей и стройся по частям! — раздается отчетливая команда Калинина. Веселее и увереннее звучат команды офицеров, суетливо и охотно исполняют приказания казаки. Роняя слезы, многие треплют на прощанье морды коням. Особенно много слез смахивается в полку калмыцком.

Брошенные кони, мешаясь с людьми, с непонимающими мордами, ищут своих хозяев в рядах людей, находят и тычутся в них носами, словно спрашивая: «Что же мне прикажешь делать?» ...

Наступили сумерки тихого весеннего вечера. Берег уже пуст. Поглотив десяток тысяч казаков, парходные силуэты мигают вдали сигнальными огоньками.

На берегу только маленькая одинокая фигура командира Зюнгарского полка, отказавшегося грузиться на парход без своей второй сотни, прикрывавшей погрузку.

Наконец, с радостными возгласами, позванивая стрелами, на рыси подскакала к берегу и эта сотня. Ожи-

давшие баркасы быстро ее разбирают и отвозят на пароход.

Уже ночь. Раздалась перекличка гудками, и пароходы скрылись в ночной мгле. Эти счастливые сыны полоненной степи избежали позорного и гибельного пленения и радостно идут на другой, «хланг», чтобы снова начать бой за свободу своей степи...

ГЛАВА 16.

Пятнадцатый уж раз мягкий низовый ветер разрывает серую зимнюю мглу, громадит ее в беспорядке белоснежными рваными кучками и открывает над степью купол голубой; пятнадцатый уж раз накрывается степь зеленым ковром и медленно линяет на солнце с тех пор, как взбулгаченная она с тяжким сном улеглась под кровавый молот красной Москвы.

Бедна теперь калмыцкая степь людьми и животными, поредели хутора и станицы по ней, и тишина нависла над краем, но жиреет от безделья земля, и к древней пустынности спешит вернуться Задонье.

Для разворота силы и красы не нуждаясь в людях и животных, точно стряхнув с себя давившую тяжесть, дико и вольно цветет ныне степь, заглушая и стирая следы человеческих рук.

По степным балкам, где, бывало, зимовали табуны и гурты, разрослись терновник и шиповник, по котловинам расползлась ежевика, свободно зреют по степи вкусные катраны, дикий лук не прячется больше между трав, пятипалая, дикая морковь вновь выросла по своим ямам, могучие бурьяны скрыли следы бывлых построек. Вновь и спешно зацелинела степь, словно торопясь отдохнуть перед нашествием... Опять она закишела зайцами, расплодила лис и хорьков, в свой пустынный простор призвала волков, а полая вода стерла все гребли на прудах, и залечила степь на своем теле кривые, то узкие, то широкие полосы-рубцы.

Весна 1935 года в Сальской степи была в полном цвету. Было позднее утро. По старой, заросшей травой, дороге между Чепраком и Боглаем, по которой в добольшевицкое время днем и ночью пылили подводы, то груженные хлебом и овощами, то пустые, или с нарядными сытыми людьми, осторожно бежал большой черный шестиместный автомобиль с маленьким красным флажком впереди.

Председатель ЦИКа Калмыцкой Автономной Области Василий Хомутников, командир красного конного

корпуса Аку Городовиков и член ЦИКа Цеценя Кермекова ехали к остаткам донских калмыков, чтобы еще и еще раз уговаривать их покинуть Сальские степи и переселиться к дербетам, в Калмыцкую Автономную Область, организованную на землях астраханских и ставропольских калмыков.

Аку Городовиков выглядит уже стариком. На морщинистом темно-желтом лице топорщатся большие, но редкие седые усы; узкие и ушедшие вглубь орбит глаза едва мигают потухающим каганцом. Прожитые пятнадцать лет со времени покорения степи большевиками изменили его до неузнаваемости. Молча, по привычке, покручивая жесткие усы, с печалью во взоре, вглядывается он в даль степи по левую сторону дороги.

В сидящем рядом с ним толстым темнолицем калмыке, с маленькими, заплывшими жиром, свиными глазенками, никто не угадал бы бывшего молодого краскома Хомутникова. Шевеля щеками раскормленного кабанка, то и дело ребром указательного пальца шмыгая под жирным носом, он смотрит вдаль по правую сторону от дороги.

На переднем сиденье, лицом к ним, сидит уже пожилая маленькая калмычка, с лицом, похожим на высохший лимон. С трудом можно было в ней опознать бывшую председательницу фронтового че-ка, мчавшуюся на могучем вороном коне, с блестящим наганом на боку. На Цецене была полукалмыцкая-полурусская одежда из плохой грубой материи. Заплетенные в две косы и собранные на затылке волосы придавали ей вид замужней женщины.

— Вот смотрю на вас обоих и стараюсь угадать то, о чем вы думаете, мчась на автомобиле по этой пустынной степи, — своим обычно скучноватым голосом заговорила она.

— И что ж? — спросил Городовиков.

— Наверное, о том же, о чем и я, потому что мы представители одного народа, выросшие в одной атмосфере.

— Так проверим, товарищ Цеценя! — воскликнул Хомутников.

Серьезным и грустным тоном начала Цеценя:

— У меня сейчас роются в голове такие мысли. Вот эта наша бывшая степь. Здесь раньше кипела богатая и оригинальная жизнь. Степь была полна нашими, калмыцкими хуторами и станицами, паслось здесь множество скота, овец, лошадей, верблюдов. Всюду зеленели в это время хлеба. Дорога эта была широка и пыльна, пролегалла она меж богатых хуторов двух наших станиц — Ики-Бурульской, вашей, товарищ Городовиков, и Бокшурганской, вашей, товарищ Хомутников. Каждый из нас задумчиво смотрел в сторону юрта своей станицы и думал: «Что было, что стало и куда все поделось? Почему ныне наша степь пуста? Почему виднеющиеся вдали хутора не калмыцкие, а мужичьи?». Верно, угадала я, или нет? Скажите правду?

— Отчасти да, — промолвил неохотно Городовиков.

Цеценя улыбнулась щелями глаз и уже громче продолжала:

— Да, как легендарное разоренное и опустошенное великое ханство Джангара, лежит перед нами наша родная степь, которую начинают заселять пришлые с севера. А наш народ наполовину погиб, часть разбреглась нищими пастухами по чужим селам, множество людей ни за что выслано новой властью в снежные лагеря на каторжный труд, голод и гибель, часть скитается по чужим государствам, часть мы переселили в так называемую Калмыцкую Автономную Область, которой также заправляют не калмыки...

— Фактическую поправку, товарищ Цеценя! — встрепенулся Хомутников, — Председатель ЦИКа Калмыцкой Области — я!

— Это только формально, товарищ Хомутников, а попробуйте сделать что-либо без товарища Вереикиса! Вот кто управляет нами, а не вы! А при царе наши станичные атаманы дрожали перед каким-нибудь пьяницей Грекуром. В этом отношении ничего не измени-

лось, только раньше было мягче, культурнее и свободнее...

— Ну-у-у! — развел руками Городовиков.

— Вы, товарищи, не дали мне докончить мою мысль. Так вот, разыгралась с нашим народом полная катастрофа. Наш народ, не взирая на свою малочисленность, объединившись с казаками, героически боролся. В этой борьбе мы с вами, шесть человек, были против своего народа, на стороне его убийц. Мы думали, что новая власть несет нашему народу хорошую жизнь, а что мы видим? Не приходилось ли вам, товарищи, задуматься над тем: какую роль мы сыграли в жизни своего народа? Я часто об этом думаю. Думаю об этом и сейчас...

У Цецени дрогнул голос и узенькие глаза заблестели влагой и порозовели крылья приплюснутого носа. Глотая слезы, она замолчала. Побагровев мясистыми щеками, молча сопел разжиревший Хомутников. Потухшим взором вдаль глядя и продолжая крутить усы, молчал и Городовиков.

Успокоившись, Цеценя закончила:

— Разумеется, я не хочу сказать, что наши интеллигенты, поведшие свой народ за белыми, были правы. Я только констатирую факт, что симпатия и чувства подавляющего большинства нашего народа были с ними, а не с нами. Следовательно, они не пошли против своего народа. Не принесли пользы своему народу и мы... Никто из нас, ни наши белые руководители, ни мы, преступления не совершили, а народ наш гибнет! Произошло это потому, что мы, маленький народ, оказались на «проезжей дороге» потрясающе-жутких революционных событий. В этом трагедия нашего народа...

Автомобиль, меж тем, пересек исток какой-то глубокой и длинной балки, в устье которой показался небольшой хуторок из десятка одиноких убогих землянок.

— Это же бывший хутор Черевку, товарищ Хомутников? Есть ли там сейчас калмыцкая семья? — спросила Цеценя.

— Нет...

— Скоро будем проезжать через самый большой хутор вашей станицы, через Богла. Неужели и там нет ни одного калмыцкого двора? — продолжала спрашивать Цеценя.

— Нет...

— А сколько дворов в самой станице, куда мы едем?

— Около полусотни.

— Гм, это из двухсот дворов?

— Товарищ Цеценя! Я прошу вас переменить пластинку. Что это вы, партийка старая, член ЦИКа, жена краскома, вздумали хныкать по буржуазному прошлому. Да, наш народ очень пострадал, но кто в этом виноват? Мы звали его на сторону красных, а он пошел с казаками. Если бы мы с вами пошли со своим народом, то разве был бы другой результат? Миллионная красная армия, под водительством таких гениальных вождей, как Ленин и Сталин, все равно победила бы, если мы, шесть калмыков, и были бы на стороне казаков. А мы разве мало добра сделали нашим братьям, служа здесь? Сколько жизней вы сами спасли? Сколько их спас Хомутников? Сколько спас я? В одном Крыму я спас несколько сот душ, одних детишек больше ста, и они все сейчас живы! Ведь, кроме покойного Канукова, все же мы старались выручать наших братьев, лишь бы не офицер! А в результате чьих работ и заслуг дали калмыкам автономную область и обещаются дать республику? Как бы там ни было, а будет Калмыцкая Республика! Было бы разве лучше, если мы все, до единого были на той стороне, а здесь наших некому было бы защитить? Или — было бы разве лучше, если все мы застрелились, как это сделал Илюмджинов? Нет, товарищ Цеценя, мне не совестно, что я был на стороне рабоче-крестьянской власти, и вы напрасно хнычете. Это — буржуазное разложение! Правильно я говорю, товарищ Хомутников? — горячо возражал Цецене Городовиков.

— Стопроцентно правильно! — поддержал Хомутников.

— Вы, товарищи, правы в том, что наше наличие там или здесь не изменило бы хода событий. Это верно. Я уже сказала, что трагедия нашего народа в том, что наш народ территориально оказался в самом центре кровавых событий! Но для нашей совести это оправдание слабое. Это все равно — если бы на вашу семью напали бы разбойники, а вы, вместо защиты, взяли бы топор и начали крошить головы своим детям и жене, а потом оправдывались бы тем, что разбойники все равно бы их убили! Вы подумайте только о том, сколько вы убили ваших братьев косвенно, отлично командуя корпусом, дивизией, бригадой и полками красноармейцев, ведя их в атаку против своих! Подумайте только: сколько ваших матерей и сестер изнасиловали ваши красноармейцы? Ведь это ваши части взяли калмыков в Лопанке, где была гора трупов калмыцких, где длинные хвосты красноармейцев насиловали сотню калмычек, вплоть до малолетних невинных девочек! Кто, как не ваши солдаты заразили вашу жену сифилисом, товарищ Городовиков, изнасиловав ее, когда она вздумала отстать от беженцев, чтобы присоединиться к вам?! — кричала Цеценя, буравя глазами то одного, то другого.

Командир красного конного корпуса Городовиков и Председатель ЦИКа Калмыцкой Области побледили и молча отвернулись...

— Меня мучит совесть, что я помогла палачам и грабителям моего народа, — продолжала Цеценя. — Как спокойно и счастливо жил наш народ, как быстро развивался, сколько было прекрасной учащейся молодежи! Как сравню теперешнюю жизнь, присмотрюсь ко всему, что делается вокруг, как нашу степь заселяют другие, и какие люди выдвигаются во главу народа, то сама себе становлюсь ненавистной!..

— Это недопустимо! Это буржуазное разложение! — возмутился Городовиков. Не давая ему докончить, вмешался Хомутников:

— Скажите, Цеценя, что мы, по-вашему, должны делать теперь, когда все совершилось? Стреляться всем?

— Нет. Стреляться теперь уже поздно. Когда Илюмджинов стрелялся, тогда это еще имело значение, ибо не известно, что больше произвело впечатление на Ленина — наше коллективное письмо, или выстрел Илюмджинова... А теперь никто вашего выстрела не услышит, особенно Сталин. Теперь нам отдать все силы, не боясь ничего, на улучшение жизни остатка нашего народа.

— Так это мы и делаем! Стоило душу скребать! — воскликнули радостно Городовиков и Хомутников.

Позвольте вам указать, что мы не всегда делаем то, что в интересах нашего народа. Например, интерес нашего народа был в том, чтобы Калмыцкую Область организовать со включением Сальского Округа, переселив сюда до отказа астраханских калмыков с их песков, заполнить ими степи Задонья с востока и запада. Здесь должно было бы быть ядро нашего народа, на хороших землях, а мы, вместо этого, погнали народ на пески, переселили в дербеты, а все только потому, что Буденному захотелось Сальские степи заселить своими и привольно их здесь расселить. Мы же, вместо того, чтобы потягаться за свои земли, помогли ему в этом, переселив бузавов в Ставрополье. Пора нам понять нашу вину перед народом и начать служить ему, а не какому-то интернационалу, мировому пролетариату, рабоче-крестьянской власти и прочее. Никакой международной революции не будет. Покойный Кануков ждал, пока черви не проели ему кишки, а не дождался; никакой пролетариат, никакие рабочие и крестьяне не имеют власти, просто, вместо бывших господ сели другие, более бедные, более жадные, вороватые! Все наши лозунги — только для обдуривания массы. Я больше вас знаю компрограму, марксизм, ленинизм — все это очковтирательство, все это к жизни не приложимо, только больной фанатик Сталин изводит народ, мучает его. Вы понимаете жуткую суть его «генеральной линии» — уничтожить всех классовых врагов! Призыв к ненависти, к убийству! Вообще вся революция не стоит смерти одного Бадни Цагакова...

Городовиков и Хомутников, опутив носы, молчали. Очень им хотелось прикрикнуть на эту «каркающую бабу», как они называли в уме Цеценю, но терпели, ибо знали ее связи в центре партии. Неизвестно было, поверят ли им, или ей. Да и охоты ловить и «подавать материалы» на всяких уклонистов у них становилось все меньше.

— Так, братцы, именно братцы, а не товарищи, слушайте меня: довольно вам выслуживаться. Будет! Из простых и малограмотных калмыков вы стали как бы генералами. Надо вам народу своему послужить и хоть отчасти очиститься от грязи и крови. Помните про себя, что в тот момент, когда убивали ваш народ, вы помогали убийцам и на костях и крови своих родных братьев сделали личную карьеру!

Автомобиль, между тем, пересек очередной бугор и стал спускаться в широкую, ровную долину. Впереди завиднелись два десятка серых землянок против одинокого темно-зеленого большого кургана на далеком противоположном гребне. Это было то, что осталось от бывшего большого и богатого хутора Богла.

Когда автомобиль, протянув за собою кучу пыли, пробегал мимо жалких небеленых землянок, направляясь к видневшемуся деревянному мостику через узкую речонку, Цеценя невольно бросила взгляд туда, где когда-то зеленел громаднейший яблоневый сад и голубел большой деревянный дом Цагакова.

Но ничего уж там не было.

Спутанная на передние ноги маленькая лошадка, да несколько тощих телят мирно паслись там. Никто бы не поверил, что всего пятнадцать лет назад по обеим берегам этой реки, на целых пять верст, тремя широкими параллельными улицами пестрел, зеленел здесь богатый хутор в триста дворов...

Когда автомобиль, перебравшись через мост, тихим ходом поднялся на бугор и поровнялся с большим и

одиноким Яновым курганом, впереди, до самой едва заметной Бокшурганской станицы, и позади, за речкой Богла и до самых Кавриновских трех курганов, стлалась безжизненная пустая степь...

К О Н Е Ц

1938 год, Братислава, Чехословакия.



ПОЯСНЕНИЕ КАЛМЫЦКИХ СЛОВ

Аадем	— молочный кислый продукт заменявший у калмыков квас.
Баз	— двор для скота или конный двор.
Бакша	— учитель, настоятель монастыря.
Бешмет	— девичье национальное платье. Также мужская верхняя одежда.
Борцик	— фигурное тесто, зажаренное в масле.
Бузав(ы)	— название донских калмыков, населявших Сальские степи в Донской области.
Бурхан	— Бог, изображение Бога.
Геген(е)	— станичный праздник. Также — свет, светлый. Светлость, светлейший — вежливое обращение к духовенству.
Гелюн(г)	— буддийский монах.
Гецюль	— старший послушник, следующее монашеское звание после манджик(а) — ученика.
Дербеты	— калмыки: населявшие Ставропольскую и Астраханскую губернии.
Дәрке, Дәрке	— «Дара-Эке» — Матерь-Дева; в минуту страха или страданий к ней прежде всего обращается калмык. Она — воплощение вечно любящей Матери и покровительница детей.
Джатак	— женский национальный головной убор.
Домбра	— калмыцкая двухструнная балалайка.
Донджик	— чайник длинной формы.
Дялинг	— кожаная сумка.
Зурхачи	— священник летоисчислитель, астролог.
Күрде	— деревянный цилиндр с молитвенным текстом.

Мандж(ик)	— ученик в хуруле, учащийся на священника.
Наадн	— игра, игры.
Нойон	— князь.
Орус	— русский.
Очир	— скипетр, символ знания у буддистов.
Рака	— водка перегнанная из кумыса.
Сöме	— буддийский храм.
Тулум	— высокий цилиндрический кожаный мешок для муки, крупы.
Хаджилг	— четырехугольная шапка у калмычек.
Хотон	— селение, поселок.
Хош	— временная стоянка, стан.
Хурул	— буддийский монастырь.
Цаган	— самый большой калмыцко-монгольский национально-религиозный праздник — «Цаган Сар» — белый месяц.
Цегдик	— наряд замужней женщины, женское платье без рукавов.
Чепрак	— по русски — станица Великокняжеская.
Чумбур	— повод уздечки.
Шабай	— особого рода базарный барышник.
Шиверлик	— шелковые длинные два чехла для кос. Обряд надевания «шиверлик» на косы невесты. Принять вид замужней женщины. (Девичий вид — волосы заплетаются в одну косу).
Ширдык	— расшитый коврик из войлока.
Ях, ях	— междуметие, выражающее боль, усталость.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

СБОРНИК КАЛМЫЦКИХ РАССКАЗОВ, изд. 1976 г.

«СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ»

Действия рассказов происходит непосредственно в предреволюционные годы 1914—20 годов. В сборник входят 16 рассказов и одна легенда. Легенда описывает прибытие калмыков в Китай (XVIII в.) — «из далекого запада, из под власти белого царя московского».

Цена \$ 8.00

Пересылка за счет покупателя.

Просим оплачивать лишь по получении нашего счета.

За заказами обращаться по адресу:

Frau E. Schlueter
Ostpreussenstr. 7
8000 Muenchen 81
W. Germany

Нашей дорогой Елене Сарановне Ремилевой
приношу мою глубокую и сердечную благодарность
за ее помощь, оказанную мне по изданию этой книги.

Д. Б. Бембетова